

СМЕНА 89

ISSN 0131—6656

Грозит ли нам банкротство? Мнение экономиста

Анна Ахматова. Из неопубликованного

Армия: сюжеты не в розовых тонах

Альберт Лиханов. «Родительская суббота»

*Театральные
и Игры в Резерваторе...
(Читайте стр. 20—22).*



Фото Евгения Стецко

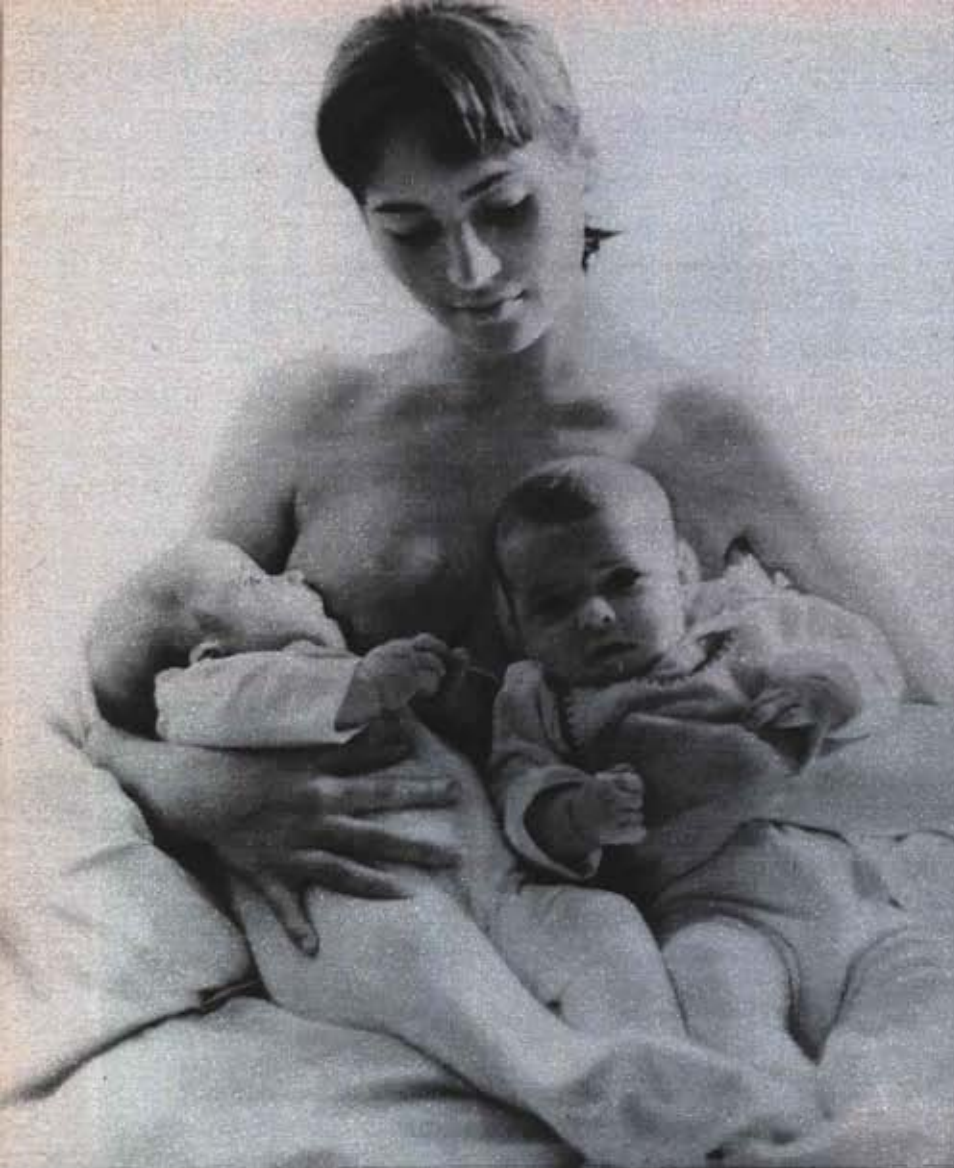


Фото Альберта ЛЕХМУСА,
Валерия ЩЕКОЛДИНА,
Евгения СТЕЦКО,
Игоря ГАВРИЛОВА

Так сказано о женщине в романе Андрея Платонова. И это не грубо, не бестактно и не устарело. Это вырвалось во времена, когда портрет советской женщины только начинали писать, а теперь он создан. Я смотрю на плакатные круглые колени под легонькой, обязательно ситцевой, юбчонкой, круглые локти полных рук, обнимающих ребенка, рулон ватмана, спол, я вижу милое и всегда свежее личико, самую малость пустоватое, ровно настолько, насколько может себе позволить быть иногда глупенькой счастливая молодая женщина, когда он рядом — с рулоном, со шлемом космонавта или в очках, когда вечный май и все сбывается...

...Приходит ко мне мастер по ремонту электроплит. Он утешает: это ничего, что конфорка лопнула, током вас не убьет, а заменить мне все равно нечем. Потом замечает стену в кухне, выложенную синим кафелем, и хвалит. И спрашивает: на что лепили?

...А вот я выхожу замуж. В загсе нам говорят: что это вам приспичило, не видите, сколько покойников на регистрации. Друг, порывающийся быть свидетелем, уверяет, что

МОНОЛОГ
С ПРАЗДНИЧНЫМ
ПОДТЕКСТОМ

товарищ сп



сам он депутат Верховного Совета, а мы оба знатные молодые люди. Тогда пусть идут, говорят они, и пусть она не ревет, такая нервная.

Я прихожу в женскую консультацию, а мне говорят...

Ну, ладно, Я приезжаю в родильный дом... (Пропускаю.)

Я приезжаю из роддома. Наутро я стою в подвернутых джинсах с мокрой тряпкой в руке, а другой рукой беру телефонную трубку. Ну что, говорит мне мой любимый начальник, вы уже успели сориентироваться: выходите на работу или же нет? Мне страшно. Я не боюсь потерять работу. Тут другое. И я говорю: да. И тогда мне привозят на дом работу.

Как хочется быть на высоте, вы не представляете!

Но что я знаю об этом? Что осталось от меня на портрете — только рулон ватмана, только сноп. К счастью, еще малыш, но вот меня вызывают в садик и говорят: ваш сын не умеет маршировать. Он танцует, но маршировать не умеет совершенно, примите меры.

Я открываю иностранный журнал и читаю со словарем вопросы шутивого теста, который определит, какую парфюмерную фирму именно



ещиального устройства



мне следует предпочесть в сезоне восемьдесят четвертого года. (Журнал у меня старьи.) Меня спрашивают, не ставят ли меня в тупик и не приводят ли в замешательство внезапные приглашения на уровне «белый галстук». То есть на высоком уровне. Я отвечаю: никогда. В результате мне рекомендуют, хотя и в сезоне 84-го: «Париж» от Сен-Лорана, «О Вив» от Кардена и «Диорессанс» от Диора.

Я иду в магазин. Я вижу прилавок. На нем, поднятые повыше, чтобы видеть в толпе, склянки, флаконы и тубики. Я совсем легко проникаю сквозь толпу. Меня просят сначала прочесть плакатик. На нем предложение: гражданка, желающая приобрести товары, вознесенные над головами, должна сдать столько-то килограммов цветных металлов, макулатуры или шерстяных вещей. За каждые десять или двадцать килограммов она получит талон, «дающий право приобрести товаров на сумму 5 рублей»...

В редакцию приходит письмо на мое имя. Девушка пятнадцати лет просит меня понять ее «как женщина женщину» и дать совет. (История простая и грустная, конечно, но надо что-то делать.) Надо ли сразу писать «...в армию на имя его командира, чтоб его заставили приехать и расписаться на мне и дали для этого отпуск, но ведь я же так и не стала беременной»? Она пишет: вы дайте мне совет, а потом я начну действовать. Мол, как-нибудь сама сообразу.

Надо бы ответить что-то про женское достоинство, с которым следует переживать и счастье, и несчастье, и любовь, и гибель ее.

Но она же спрашивает: как практически действовать? Она же про любовь ни слова не написала. Что так, девушка? И вдруг я начинаю ее понимать... К черту! Что до любви, то... Нет, подождите, я хочу спросить вас: что вы знаете о нас, наши товарищи?

А ты что знаешь обо мне?

Начнем с простого. Какие духи я предпочитаю в это время года? Пряные? С «зеленой ногой»? Или утром подойдет туалетная вода под названием «Отвага», если я правильно перевела с французского? Какие блузки я бы предпочла носить? Какого цвета? Шелк? Креп? Вообще я люблю одеваться просто? Или же шикарно? Нравится ли мне часто менять обстановку в доме? Занавески, скатерть? И что я хватаюсь за голову при приближении гостей?

На самом ли деле я так уж люблю работать и рассказывать о работе, цитировать похвалы, так тяжело переживаю неудачи?

Где я люблю проводить отпуск? В собственной квартире?! В лесу?! Мечтаю ли я? О чем? Почему же не делюсь с тобой заветным? Кому завидую, что читаю, каково мое мнение о государственном устройстве и последних международных событиях, а если нет, то почему?

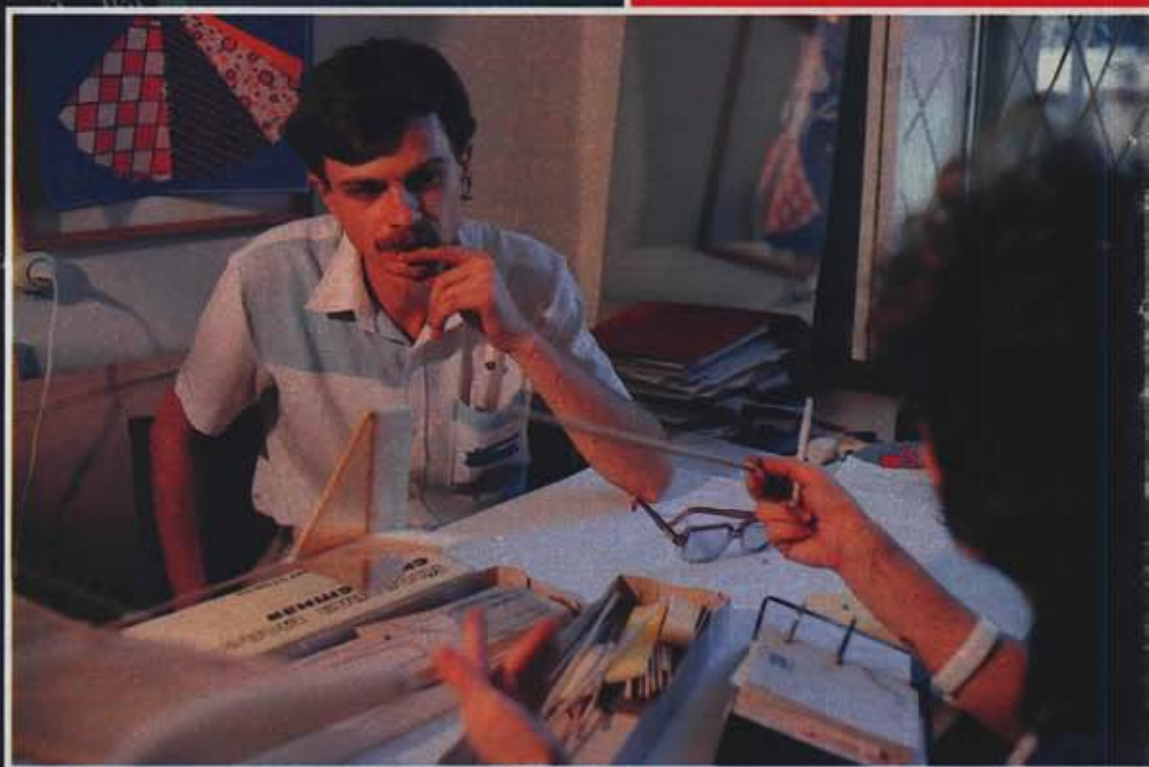
И почему вдруг опять разревелась, от пустяка завелась?

Я твой товарищ. Мне это лестно. Мы знаем друг друга всю жизнь. Сколько хорошего произошло в нашей жизни! Мы вместе движемся вперед, а может, надо написать: продаемся. Можно?

В том хорошем смысле, что ничто не дается без труда, иногда изнурительного. Кажется, для этого человек и рождается на свет, для труда, — и мужчина, и женщина, его товарищ, только товарищ другого специального устройства, то есть устроенный природой сугубо для счастья... но мы эту природу пересилим. Действуя практически.

... — Ах, — сказала вдруг мне пожилая женщина в метро. — Какая я была! Вы и представить себе не можете, какая я была...

Как же не знать. Знаю. Представлю себе, подруга.



Леонид ПЕРЛОВ
Фото Владимира ЧЕЙШВИЛИ

БЕНЗИН И ИДЕИ — НАШИ

Сегодня этот адрес знают не только в Узбекистане, но в Москве и Риге, Челябинске и Джамбуле, Свердловске и Ужгороде... Ташкент: координационный центр научно-технического творчества молодежи «Ритм». Здесь можно встретить студентов, инженеров, рабочих, «патзушников», директоров заводов и председателей колхозов, плановиков, экономистов, партийных и комсомольских работников...

Так что же такое «Ритм»? Василий Урбан, нынешний директор его, шутливо ответил: — Это когда и бензин, и идеи — наши...

— Как-то в коридоре городской станции юных техников, — рассказывает Александр Сикиотов, один из инициаторов создания КЦ НТТМ «Ритм», — я встретил парня: вижу, тыкается из двери в дверь — никому не нужен. Спрашиваю: чего ищешь? Помощи, отвечает. Отшли к окну, он вытаскивает сигареты, а руки трясутся — на пределе мужик. Оказывается, предлагает отличную штуку: блинопечку для маленьких буфетов, школьных столовых, полевых станций. Сделать можно из подручных материалов, расход энергии минимальный. Ну, а блины, как блины печет... И... никому не нужна. Обидно. Я тогда по наивности полагал, что за предложение умельца должны ухватиться обеими руками, просто парень не знает, с чего начать, к кому обратиться. Решил помочь. А вышло действительно хождение по мукам, полгода пробивали, пока ташкентский тракторный не взялся изготовить партию...

Сейчас для «Ритма» блинопечь — пустяк. Заказы много объема, много технического уровня обкатываем впятеро быстрее, но разве «парвенца» забудешь? Я тогда решил — нужна внедренческая фирма, такая, как легендарный новосибирский «Факел»...

Тут стоит оглянуться. 15 лет назад, в начале 70-х, студенты, молодые инженеры, ученые Новосибирска организовали первую в стране хозрасчетную внедренческую фирму. Назвали «Факел», надеясь, что он озарит тернистый путь упрямоцев и мечтателей. Так, собственно,

...И на станции юных техников

Владимир Аульченко — левый крайний «Ритма».

и вышло. Для молодых — и не только молодых! — изобретателей, рационализаторов «Факел» стал без преувеличения путеводной звездой. Достаточно сказать, что за четыре года существования он дал стране едва ли не 50 миллионов рублей. Вслед за ним начали действовать еще 17 фирм. Самофинансирование, самоокупаемость, полный хозрасчет — понятия, неотъемлемые ныне от жизни нашей экономики, еще тогда в «Факеле» были основными. На этих принципах строилась работа молодежных внедренческих организаций.

Но «Факел» высветил и другое. Не разворотливость, замшелость ведомств, отвечающих за научно-техническое творчество в стране; явную неспособность большинства их подразделений мобильно реагировать на сложные ситуации...

Свет «Факела» был непривычен, и его погасили... (Кстати, об этом и о необходимости возродить «Факел» писалось в «Смене» № 9 за 1987 г.) Но, как видны, «искры» остались...

Сикиотову с товарищами было не просто. Им никто и нигде не говорил «нет». Их внимательно выслушивали, улыбались приветливо: действуйте.

время не оказалось специалистов, которые могли бы смонтировать и наладить установку лазерного упрочнения резцов. Техника простаивала, принося предприятию немалые убытки. «Ритм» предложил свои услуги. Был подписан договор и сразу же создан ВТМК — временный творческий молодежный коллектив. Его возглавили научные работники В. Норманов и Э. Винаров. Всего три вечера понадобилось, чтобы пустить установку...

А ВТМК Сережи Ляшко в это же время проектировал, оборудовал, оформлял по заказу СПТУ-15 учебный автокласс (сумма договорных работ — 28 тысяч).

Для исполнения долгосрочного заказа создавался один из первых крупных комплексных коллективов по разработке гелиознергетических установок (ориентировочная сумма договора — 100 тысяч рублей).

Конечно, были у «Ритма» и помощники, и радители даже в самое трудное время. Инструктор отдела научно-технического творчества молодежи ЦК ЛКСМ Узбекистана Валентина Гаражанина вместе с ребятами дотемна засиживалась над планами, ходила по кабинетам, доказывая важность и нужность координационного центра; Лев Шутин, сотрудник республиканского Совета ВОИР добровольно взял на себя роль диспетчера, направляя в «Ритм» молодых, перспективных изобретателей... Да и те хозяйственники, что первыми обратились к никому не известной молодежной внедренческой фирме, рисковали многим. Правда, риск тот оправдался, затраты окупались...

Уже работают подобные фирмы в Свердловске и Одессе, Москве и Ленинграде, Днепропетровске и Хабаровске. В Ташкентском «Ритме» встретили Андрея Головина, инженера-конструктора компьютерной техники, одного из руководителей Челябинского Центра НТТМ:

— Обмениваемся не только опытом, но и изобретениями, технологиями, проектами. Конечно, такой обмен оплачивается, — он выгоден нам. К примеру, в Узбекистане отлажена технология химических производств, у нас — металлургия...

Да, все больше по стране открываются внедренческие фирмы. Постановление Совмина СССР о хозрасчетной деятельности комсомола развязывает руки энтузиастам. НТТМ обретает как бы второе дыхание — началось формирование единой общегосударственной системы научно-тех-

нического творчества молодежи.

Десять лет назад восьмиклассник из Барановичей Виталий Петровский на тетрадном листе набросал схему разводного моста. Принцип был нов: река сама разворачивала пролеты вдоль течения. Подобного в мировой практике мостостроения не было. Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий еще тогда запатентовал идею Петровского. «Смена» писала об этом.

Но не нашлось ни одного министерства, ведомства, НИИ, кто бы взялся внедрить открытие пятнадцатилетнего Кулибина из Барановичей. И сейчас нам подумалось: был бы в ту пору «Ритм»!

Такая вот внедренческая фирма — надежный «посредник» между идеей и ее реализацией — ох, как нужна и многочисленным героям телецикла «Это вы можете». Хватило бы тогда на наших приусадебных участках мини-тракторов, оригинальных косилок, глотали бы километры бездорожья самодельные вездеходы, красовались бы на шоссе недорогие, удобные автомобили.

Но где все это? На выставках...

Любопытна статистика: лишь 10 процентов изобретений ученых, работающих в академических институтах, вузах страны, используются в народном хозяйстве, а 97 процентов даже внедрены в производство задуманы ныне только на одном предприятии. В том же Узбекистане лишь 9 процентов научно-исследовательских разработок внедряются в течение года, а для большинства этот период растягивается до десяти лет.

С начала текущей пятилетки в одной Ташкентской области было предложено около тысячи трехсот изобретений. Использовано менее шестисот...

И на этом фоне деятельность «Ритма», других подобных фирм обретает особый смысл. Экономисты подсчитали: 200 самостоятельных творческих внедренческих организаций только за год могут дать стране около 20 миллиардов рублей!

Чем же занимается сегодня ВТМК «Ритм»? Разработка новых приборов, блоков, узлов; модернизация технологических процессов; обслуживание и обеспечение вычислительных комплексов; консультации по различным техническим вопросам; разработка долгосрочных программ в соответствии с особыми требованиями заказчика...

Экология, кооперативная дея-

тельность, сложные производственные проблемы, организация интересного досуга молодежи — тоже в числе дел «Ритма».

Для выполнения того или иного заказа создается временная творческая группа. В нее могут входить различные специалисты — химик и кибернетик, социолог и дизайнер, хозяйственник и экономист... Варианты разработок, предложенные группой, обсуждают эксперты — сотрудники академических и отраслевых НИИ, опытные производственники. Они и определяют, находят наиболее эффективный вариант, за ними последнее слово.

Не будем забывать, Ташкентский координационный Центр НТТМ — хозрасчетная организация. Ребятам приходится считать деньги, предвидя не только выгоду, но и возможный убыток. Многовариантность работ предполагает прежде всего расширение творческих прав, а значит, изначально противится догме, шаблону. В то же время многовариантность — это и обязательный риск. Поэтому часть заработанных средств идет в поисковый фонд — фонд риска, как называют его сами «ритмовцы».

— Денег на это не жалеем, — говорит Василий Урбан, — в США, например, — а капиталисты на ветер денег не бросают — треть деловых начинаний кончается крахом. Такое положение в международной экономике считается нормальным, даже способствующим прогрессу.

«Ритм» — посредническая фирма. Она своего рода продюсер, менеджер, связывает заказчика с исполнителем. Еще вчера странно было слышать о подобном, сегодня посреднические услуги — в социальной, общественной, в хозяйственной сфере — становятся важным экономическим и организационным элементом перестройки.

Я не преминул спросить у директора «Ритма» о деньгах. Из чего складывается прибыль, сколько получают штатные работники Центра, члены ВТМК, выгодно ли в конце концов это предприятие — «Ритм»?

— Не было бы прибыли — мы прогорели. Ну а расклад такой...

И Василий Григорьевич с цифрами в руках рассказал мне о том, как выполнялась и сколько стоила разработка унифицированного пульта на микропроцессорах управления блочными горелками. Прямая установка была неэкономична, часто выходила из строя. Творческий коллектив — десять человек во главе с инженером В. Эккертом — справился с заданием за три месяца. В обычных условиях только на «согласования» и «узвязки» ушел бы год. И то в лучшем случае.

Эта работа оценивалась институтом в 20 тысяч рублей. Половина — зарплата исполнителям. Остальное — «Ритму». Эти деньги распределялись так: 15 процентов — накладные расходы; 7 — социальное страхование; 8 — материалы и оборудование; 10 — поисковый (тот самый «рисковый») фонд; 10 процентов — премияльная оплата (она поровну делится между ВТМК и Центром).

— Ну и по сколько вышло «на круг»? — спросил я, закончив подсчеты.

— Исполнители заказа получают в зависимости от КТУ от 300 до 500 рублей в месяц. У меня оклад 310 рублей. Плюс в год могу быть премирован девятью окладами...

— И это при том, что имеем договоры почти на пять миллионов рублей?

— Ничего странного; заказы еще не деньги, работу надо сделать...



Но как раз действовать-то и не давали. Требовали все новые бумаги, подписи, резолюции.

— Не каменная, какая-то ватная, вязкая стена, — вспоминает Александр. — Один кабинет, второй, двадцатый — и никто не хочет решать. У нас уже были заказы, где-то на сто тысяч рублей, а мы, инициативная группа, пятый месяц сидели без копейки: официально не оформлены, значит, нет своего расчетного счета... Тетка мой, программист Саша Капцанов сказал мне как-то: «Вот все, что осталось...» Раскрыл ладонь, на ней медяки. А у меня самого последняя пятерка...

Лишь после того, как «Ритмом» заинтересовались в Совете Министров республики и к ребятам пришел заместитель Предсовмина Валерий Васильевич Сударенков, работники Ташкентского горкома комсомола появились здесь, чтобы узнать: что творится в этом самом «Ритме»? А в «Ритме» год назад было вот что... На заводе «Таштекстильмаш» в то

...и на ГРЭС знают ребят из Центра НТТМ.

Игорь КОНОНОВ

Бурява воду винтом, катерок шустрил по направлению к стоящему на рейде «Киеву». С берега вид его как-то не слишком поражающе воображение, закрадывалось даже сомнение: туда ли я попал? Но кто сказал, что большое видится на расстоянии? Подойдя поближе, я ощутил себя песчинкой рядом с горой. В наступающих сумерках уходил куда-то круто вверх и сливался с серым небом серый же борт корабля, а линии его корпуса заканчивались где-то за горизонтом.

Следя логике первых впечатлений, надо бы перейти к восторженным описаниям боевой мощи крейсера, рассказав, сколько на его борту самолетов и каких бед смогли бы натворить в стане «супостата» имеющиеся на вооружении ракеты. И все получилось бы скорее всего именно так, если бы я, как и планировалось изначально, попал в горячку боевых учений, где на первый план выступают вполне конкретные задачи: вовремя прибыть, обнаружить, уничтожить... в общем, пришел, увидел, победил. И в этой ратной суматохе крайне трудно было бы разглядеть, чем, собственно, живет корабль, пока в воздухе не пахнет пороховой гарью. Но вышло все не так.

Примерно месяц с Главным штабом ВМФ в Москве согласовывались сроки командировки с тем, чтобы я смог попасть на учения. Знающие люди, правда, предупреждали: нет ничего ненадежнее флотской организации, но я с дилетантским пренебрежением отмахивался от скептиков, сохраняя веру в совершенства воинского порядка. Наконец раздался звонок, и я услышал долгожданную весть: «Киев» стоит под парами. Гарантировалось, что самолеты будут летать, ракеты — поражать цели, форштевень — рассекает свинцовые воды Баренцева моря, а экипаж — продемонстрировать чудеса боевой выучки.

То ли планы флагмана Северного флота являлись тайной для Главного штаба в Москве, то ли командование опасалось, что присутствие корреспондента отрицательно скажется на точности попаданий, но самолетов я так и не увидел, равно как и бурунов за кормой. По прибытии в штаб Северного флота «внезапно» выяснилось, что «Киев» три дня как вернулся в базу, целиком выполнив годовой план боевой учебы, и теперь не скоро с его палубы взлетит самолет. В общем, как в анекдоте: «Зачем вчера не пришел?»

Помняв «флотскую организацию», я все-таки решил побывать на корабле — не упустить же такую возможность!

Уже месяц «Киев» болтается посреди залива, как щепка в проруби. Месяц назад ребята вернулись с боевой службы, длившейся полгода, а ни матросы, ни офицеры берега толком так и не увидели. Другие корабли стоят у причалов, и, когда стрелка часов замедляет на отметке 18.00, офицеры, свободные от вахт, запирают «море на замок», спускаются по сходням и идут домой. А по выходным и матросики в отгульных по случаю увольнения брюках отправляются в город в поисках небогатых для Североморска развлечений. Да что развлечений — просто ощутить под ногами землю, а не стальную палубу, дрожащую от постоянной работы дизелей. Так везде, но не на «Киеве».

Размеры крейсера, так поразившие

меня с первого взгляда, сыграли с командой злую шутку. За удовольствие смотреть на проходящие корабли сверху вниз, испытывая при этом восторг от причастности к такому айсбергу, приходится расплачиваться лишением земных радостей: у корабля нет своего причала. Вон он, как бездомный, и стоит в миле от берега, привязанный толстой цепью к бочке. Вроде близок локоть, да не укусишь.

По идее, причалы должны строиться если не раньше, то хотя бы одновременно с самим кораблем, как это делается во всех флотах мира, в том числе у «потенциального противника», особенно если речь идет о флагмане. Даже если о моральном состоянии ребят с «Киева», о психологической необходимости смены впечатлений с корабельных на береговые думать в последнюю очередь, то в дело вступают экономические категории. У судна, стоящего на рейде, постоянно работают силовые котлы, вырабатывая моторесурс и поглощая в невероятных количествах топливо. Кстати, двух таких котлов (в их на «Киеве» несколько), каждый из которых представляет собой теплотростанцию средних размеров, хватит, чтобы обеспечить электроэнергией весь Североморск. Так вот, если подсчитать, во что обходится износ машин, топливо для них, топливо катеров, постоянно мотающихся от берега к кораблю, плюс все остальное, на эти деньги можно выстроить далеко не один причал со складами, ремонтными мастерскими и казармами для команды. А если учесть и моральный фактор, который почему-то учитывается только в экстремальных ситуациях, то потери огромны.

Некоторое время тому назад кто-то все же их подсчитал, и было решено возвести причал. Однако затея окончилась тем, что итальянцы называют красивым словом «фiasco»: возвести-то его возвели, но вдруг выяснилось, что если «Киев» попытается отойти от него, то напорется на подводную скалу, неведь откуда взявшуюся прямо по фарватеру. Горячие головы хотели было немедленно взорвать проклятую скалу, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что технически это неосуществимо. Посокрушались, списали убытки на природу и забыли. А воз, то бишь «Киев», и ныне там.

Морская служба — штука тяжелая. Но зачем делать ее невыносимой?

...Ах, флотский офицер — краса и гордость общества, предмет тайных девичьих грез! Интеллигентный, обязательный, душа любой компании. Все это было, было... Ужели прошло?

Нынешнему офицеру патологически некогда. Некогда заняться собой, семьей, детьми. Все его время отдано одному — службе. Он не свободен ни днем, ни ночью, ни в отпуске. Армия и флот с легкостью необыкновенной сами устанавливают законы, и поэтому военный просто не знает, что собой представляет одно из основных завоеваний трудящихся — 8-часовой рабочий день. Член военного совета начальник политуправления флота вице-адмирал С. П. Варгин с гордостью сообщил, что его рабочий день начинается в 8 часов утра и заканчивается около 8—9 часов вечера. Хочешь не хочешь, а тот же распорядок и у большинства рядовых офицеров. Что, здесь мерилком работы считают усталость? Или Родина в опасности, и только «изнуряющим» трудом без выходных можно отодвинуть угрозу войны? Вряд ли. С другой стороны, если офицеры заняты воспитанием личного состава, спят и едят вместе с ма-

тросами, холят и лелеют боевую технику, совершенствуют свои знания, такое рвение можно только приветствовать. Но в том-то и дело, что львиная доля их времени уходит не на это. Как рассказывали мне «киевские» офицеры, главная их забота — бумаги.

Ох, уж эти бумаги! Сколько сказано об этом, сколько написано! Десятки, сотни различных отчетов, справок, планов ежегодно заполняются каждым офицером. Для кого они пишутся и куда сдаются? Тайна Министерства обороны, потому что никто и никогда еще не вывел математической зависимости между количеством бумаг и качеством боеготовности армии и флота. Но между тем начальство любого уровня, видимо, убеждено, что формула есть и звучит она: чем больше, тем лучше. В жизни это выглядит так: приходит на корабль комиссия — куда она лезет в первую очередь? Правильно, в бумаги. Не в ходовую рубку и не в машинное отделение — в бумаги. Если все справки, отчеты, планы в наличии — оценка «отлично», корабль к боевой службе готов. Нет одной бумажки — душу вынут.

И пишут, пишут флотские офицеры на зависть графоманам. А время идет, идет... Не прочитана одна книга, вторая, некогда поговорить с матросом, некогда пообщаться с друзьями. Сын растет без отца, жена — соломенная вдова. Где ты, престиж и романтика флотской службы?

Впрочем, о престиже говорить у нас любят, особенно о престиже плавсостава, то есть вот этих офицеров с «Киева». Сергей Павлович Варгин прочитал мне целую лекцию с цитатами из документов, суть которой сводилась к тому, что нет ничего более престижного в жизни, чем служить на корабле. Интересно, знает ли он мнение офицеров своего флота?

Главное мерило благополучия по-казенному — всевозможные надбавки: за дальний поход, «морские» — это когда корабль выходит в море, и на мачте его развевается узкий вымпел, именуемый «длинным рублем». Казалось бы — все хорошо, материальный стимул задействован (хотя, как сказать? командир американского авианосца имеет оклад около 7 тысяч долларов, командир «Киева» несравнимо меньше, включая все виды надбавок). Но в конце концов не хлебом единым...

Большой вопрос — квартира. Строят, так сказать, много, но мало. И квартир катастрофически не хватает. Молодые лейтенанты, прибывающие к месту службы из училищ, годами ждут хотя бы комнаты. И это при наличии семьи! Бывали случаи, когда отчаявшиеся вскрывали квартиры уехавших в отпуск сослуживцев и селились там. Нередко молодая семья ютится на плавбазе, занимая каюту. Нетрудно представить себе моральное состояние лейтенанта, уходящего в поход на несколько месяцев и оставляющего жену с ребенком практически без крыши над головой. А ему при этом толкуют о престиже плавсостава.

Сейчас в Североморске с жильем стало чуть лучше, очереди сократились, но не исчезли. Но это в Североморске, столице флота, а что делается «на периферии»?

Слух, что корабль становится в ремонт, разносится мгновенно и вызывает разные чувства. Матросы радуются, — после многих месяцев качки есть возможность наконец-то почувствовать под ногами землю. Кроме этого, их можно понять еще и чисто по-человечески. На судоремонтном заводе нет такой из-

матывающей службы, зато много девушек. В общем, они рады. Но для офицера, тем более семейного, — это катастрофа. Привычный уклад жизни рушится. Дело в том, что корабли с Севера перегоняются для ремонта в южные моря. Сразу же «слетает» северная надбавка. (Стопроцентная «полярка» платится лишь после 5 лет непрерывной службы в Заполярье. Если даже после 4 лет офицер уезжает по каким-то причинам с Севера больше, чем на 10 месяцев, то по возвращении отчет начинается сначала. Что уж говорить о ремонте, длящемся несколько лет.) Надо бросать обжитое место, квартиру, школу и перебираться в другой город, где на квартиру, понятно, и своих претендентов хватает. В лучшем случае общага, не хочешь — обращайся в частный сектор и будь готов отдать все свои сбережения. Да, это — катастрофа, но С. П. Варгин называет ее «спецификой службы». Ничего себе специфика! Как тут не вспомнить систему ремонта кораблей американского ВМФ: во-первых, ремонт длится 6—8 месяцев, не более (за каждый просроченный день фирма платит колоссальную неустойку); во-вторых, с корабля на это время снимается вся команда: им платят за то, чтобы они несли боевую службу, а не бегали с красками по кораблю. Качество ремонта — это предмет особого разговора. Я все о престиже.

Мне рассказывали такой случай. В Средиземном море к нашему кораблю подошел катер с французского эсминца, стоявшего неподалеку. Нашего командира пригласили на ужин. Элементарная ситуация тут же превратилась в неразрешимый ребус. Согласно международным правилам, командир должен был в ответ пригласить француза, а это — сами понимаете... Что делать? Срочно отбили радиogramму в Москву. Ответ пришел незамедлительно: снять с якоря и идти на отработку боевых задач... Можно было представить себе изумление французов, наблюдавших, как советский корабль на всех парах уносится в голубую даль. А после этого особенно хорошо поговорить с матросами о престиже флотской службы и о том, что «у советских — собственная гордость».

В общем, престиж на бумаге сильно отличается от престижа в жизни. И пока слова расходятся с делом, будет и дальше падать конкурс в военноморские училища, будут и дальше при первой возможности уходить офицеры с кораблей на берег, где все то же самое, но только дети, по крайней мере, не забывают, как выглядят их отцы.

— Знаете, что самое страшное во всей флотской службе? Отучившись думать. Здесь этого просто не требуется, более того — не приветствуется. Закон железный: приказано — исполняй. Нет, я не против самого принципа безусловности исполнения приказаний, но зачем все превращать в догму? Бывает, приказывает офицер сделать то-то и то-то. Я говорю: «Товарищ лейтенант! Этого не нужно делать по таким-то причинам». А он мне: «Я сам знаю, что не нужно, но мне приказал командир, а я приказываю тебе». Ну, пойдешь, сделаешь кое-как, а то и вообще только изобразишь видимость деятельности. А попробуй поспорь — в нарядах сносят.

Я уже третий год служу и за это время убедился: нашим офицерам страшно, когда у матроса появляется возможность остаться наедине со своими мыслями, им страшно, когда матрос

начинает думать. А когда он начинает думать? Когда у него есть свободное время. Следовательно, свободного времени быть не должно! И вот начинается: чуть только какая пауза — сразу построение личного состава. Зачем, для чего — никто не знает, но вот нас десять минут строят, потом командир или старпом речь толкает о чем-нибудь. Смотришь — прошла пауза. И так по 7—10 раз в день. Или строевая. Топочь по железной палубе, и в голове — ну никаких мыслей! Раз-два, раз-два... Можно еще канат перетягивать — тоже полезное занятие для мозгов. А в личное время — политзанятия, собрания и так далее. Так и день прошел. Вроде ничего особенного не сделал, но устал — только бы до подушки добраться. Я не пойму: чего они так боятся? Или мы до какой-то страшной тайны додумаемся?

С Сашей Киселевым я познакомился, когда, залпугав в бесконечных корабельных коридорах, общая длина которых составляет 15 километров, сдался на милость первого встретившегося матроса. Пока он провожал меня до каюты, выяснилось, что мы земляки, или, как говорят на флоте, «земели». Это обстоятельство, безусловно, сыграло свою роль, и, как пишут в официальных отчетах, «состоялась беседа, прошедшая в духе откровенности». В том, что говорил мой земляк, я не нашел ничего для себя нового — сам когда-то прошел через все это. Однако личные впечатления датируются временем, когда общались наши и армия находились, так сказать, в апогее застоя. Сейчас-то на дворе какой год?

Пожалуй, ни один печатный орган не обошел вниманием тему «дедовщины», или, как ее называют на флоте, «годковщины». Достоянием гласности становятся леденящие душу истории об издевательствах над молодыми солдатами, часто заканчивающиеся трагически. Редакции газет и журналов, в том числе нашего, завалены письмами на эту тему. Армия, будучи не в состоянии наложить вето на публикации таких материалов, вынуждена реагировать.

Издаются грозные приказы, летят головы командиров и политработников, в чьих подразделениях выявлены случаи «неуставняка». Теперь возникает довольно странная ситуация: армия с наслаждением мазохистски выворачивает перед первым встречным журналистом тайники своей жизни. На «Киеве» я сам ни разу не заводил разговор о случаях неуставных отношений. В этом просто не было необходимости, потому что каждый, с кем я общался, охотно говорил об этом по собственной инициативе. В парткоме корабля на видном месте висела таблица, в которую были внесены данные о всех нарушениях по месяцам, включая точное количество «грубых проступков», случаев пьянства и «неуставняка». Воистину социализм — это учет. Все наглядно, но откровенность настораживает.

Ясность внес командир «Киева» Николай Андреевич Мелаш:

— Нам скрывать нечего. Пусть общество знает, кого оно присылает на службу. На флоте никакой особой почвы для проявления «годковщины» нет и быть не может. К нам приходят сложившиеся люди, и если их не воспитала школа и семья, армия бессильна. Все пороки приносятся к нам извне.

Вот оно что! Как все это знакомо: школа валит на семью, семья — на школу, а теперь вот армия валит

все на школу и семью. Не воспитали, мол...

Я готов согласиться с мнением командира в той части, что за три года перевоспитать человека крайне трудно. Но делаются к этому хоть какие-то попытки? Если отвечать на вопрос неформально, то нет, не делаются. Воспитание человека — это прежде всего воспитание личности, свободно мыслящей, самостоятельной и независимой. Но сама система армейской службы, втиснутая в жесткие рамки устава, исключает проявления личностных качеств. Субординация, доходящая до пресмыкательства, культ приказа, доводящий до бездумности, — это воспитание по-армейски. И это «воспитание» я бы назвал так: унижение по уставу — «уставняк».

Протест против «уставняка», выраженный в активной форме, проецируется на отношения между матросами и называется «годковщиной»: пассивная же форма рождает тихий саботаж распоряжений командира, изнуряющие конфликты между старшими и младшими по званию. Офицер вовсе не уверен, что его приказание будет выполнено, и поэтому вынужден перепроверять исполнителя, а это отнюдь не наполняет его добрыми чувствами к матросу. Выход находят в грубости, порождающей новый конфликт и углубляющей пропасть между кубриком и кают-компанией.

Возможен ли шаг навстречу?

Мне неоднократно приходилось слышать, как с армейских амвонов произносилась крылатая фраза: «Нет и не может быть истины в последней инстанции». Фраза, ставшая символом плюрализма, в устах военного, опирающегося одной рукой на устав, звучит по меньшей мере смешно. Кому, как не им, знать, что в армии и на флоте истина в последней инстанции — это мнение начальника. Никто не спорит, что приказ командира — закон для подчиненного, но зачем размахивать флагом демократии, держа в другой руке дубинку? Кстати, а есть ли она, демократия?

«Демократия на флоте? — задумался над вопросом С. П. Варгин. — Ну как же без нее».

И рассказал нам, как изменилась система выборов секретарей комсомольских организаций на кораблях. Как было раньше: приводит офицер политуправления молодого лейтенанта на корабль, выстраивает матросов на палубе и объявляет: «Это ваш новый комсомольский секретарь, прошу любить...» В тот же день комсомольское собрание, и лейтенант «единогласно избирается» при полном безразличии к этому мероприятию со стороны присутствующих. Сейчас в условиях демократизации политорганы ввели некоторые новшества, обозвав их на всякий случай экспериментом.

На корабль присылают двух, а то и трех офицеров, которые в течение месяца проводят агитационную работу с целью привлечь на свою сторону избирателей. Америка! Затем проводятся выборы, и побеждает, как водится, набравший большинство голосов. Все прекрасно, не правда ли? На «гражданке» такая система выборов еще только рождается в муках, а на флоте уже пожалуйте. Но вот беда: должность секретаря штатная, занять ее может лишь офицер, но никак не «свой», «из народа». И тем не менее даже такой опыт можно считать первой ласточкой перемен.

На «Киеве» нам рассказали о своем понимании демократии. Там теперь

каждый матрос может участвовать в решении жизненно важных для себя вопросов: о предоставлении отпусков, об очередности увольнения в запас. Форма процедуры проста: голосуешь «за» — ставишь на бумажке крестик и кидаешь в шапку, «против» — кидаешь чистую бумажку. Считаешь, что Иванов должен уйти на «дембель» в октябре — крестик, считаешь возможным отпустить его в декабре — чистую бумажку... Но самое пикантное не в этом. Как бы ты ни проголосовал, сколько бы Иванов ни набрал очков, все равно в конечном счете будет так, как решит командир. Ему видней. Вот такая «демократия», зато в ногу со временем.

Слишком долго мы руководствовались в жизни лозунгом «Даешь!», который хорошо оправдывал себя во времена катаклизмов. Но энтузиазм нельзя эксплуатировать бесконечно, рано или поздно наступает апатия, громкие слова о долге и обязанностях, не подкрепленные реалиями прав, перестают работать.

Основа жизни любого общества, как учили нас классики, есть экономические отношения. Сейчас мы перестаем вздрагивать от терминов «предпримчивость», «выгода», «стимул», «коммерция», еще недавно применявшихся почти исключительно в отрицательном контексте. В обществе наметилась тенденция поставить все с головы на ноги, то есть на экономические рельсы. Армия пока делает вид, что к ней это не имеет никакого отношения.

И все же: а если за службу в Вооруженных Силах платить деньги? Крамольный вопрос, способный вызвать бурю праведного негодования: что ж мы, дескать, наемники?! Не надо уподобляться... и т. д.

Уподобляться, конечно, не надо, и тем не менее почему нет? Что случится, если матрос вернется через три года, имея некоторую сумму на счету в банке, и начнет жизнь самостоятельным человеком, а не хлебомиком на шее у родителей? Убежден, что служба в армии, столь непривлекательная сейчас для молодых людей, обернулась бы совсем другой стороной. А в самой армии, в системе ее иерархии появился бы рычаг, способный на совершенно ином уровне регулировать отношения старших и младших, и назывался бы он «материальная заинтересованность».

Предвижу возгласы оппонентов: «Уже ничего святого не осталось, все за деньги». Отнюдь. Смею думать, что американские матросы ничуть не меньше любят свою родину, но за службу получают доллары. И неплохие доллары. Что же касается рычага, то наказание лишением зарплаты за месяц-два было бы куда более действенным средством, чем наряд вне очереди или увольнение на берег.

Теперь самый сложный вопрос: где взять необходимые деньги? Хорошо нашему визави за океаном — он богат. А мы — посмотрим правде в глаза — бедны. Поэтому исходить надо из того, что имеется, но распределять эти средства по-другому. Деньги не надо ниоткуда брать, их надо сэкономить, и сэкономить на той же армии.

Наша армия до умопомрачения расточительна, причем в своей расточительности избалована донельзя, поскольку никогда не знала отказа: как же, «все лучшее — армии...». Колоссальные по стоимости военные программы, содержание своих войск на территориях других стран — все это ощутимые миллиарды рублей. А сколько этих миллиардов

«летит» на постоянное обновление армейской техники — от саперной лопаты до танка, поскольку на солдата почему-то не действуют идеологические накачки о «народном добре», и он гробит эту технику с вдохновением варвара или луддиста, выдающего в механическом станке источник всех своих невзгод.

Наконец, несравнимый по затратам ни с какими ракетами принцип комплектования армии и флота. Дважды в год призываются на службу десятки, сотни тысяч юношей, каждого из которых нужно одеть во все новое, привезти, обучить специальности, что стоит немалых денег, и потом расстаться с ним навсегда. (При этом за время службы он что-нибудь обязательно сломает или потеряет, но это — детали.) То, что с ним расстанется навсегда, это непреложная истина, потому что после увольнения в запас даже специалист первого класса не вспомнит, чему его когда-то учили. И если вдруг призвать сейчас в армию тех, кто отслужил год-два назад, то это будет армия дилетантов.

Армия должна быть профессиональной, а для этого костяк ее надо строить на принципах вольного найма по контракту. Только средств, сэкономленных на обучении дважды в год призываемых «рекрутов», должно хватить на содержание профессиональной армии, подсчитать это может любой интендант.

...Иногда я не мог понять: кто же есть кто? Вроде я — корреспондент журнала, приехавший на крейсер «Киев» готовить материал о флагмане Северного флота, и надо ходить, смотреть, задавать вопросы... Ходил, смотрел, а вопросы задавали мне, и были они самые разнообразные — от риторического: «Как там в Москве?» — до ставящего в тупик: «Когда начнут сокращать армию?» В конце концов я даже придумал игру: задай мне вопрос, и я скажу, кто ты. Не буду хвалиться, что попал всегда в «десятку», но угадывал, в общем, «кучно».

— А правда, что сроки службы скоро сократятся? — ясное дело, эта проблема может волновать только первогодка.

— А что сейчас носят на «гражданке»? — без труда вычисляю «дембеля», которому уже зачитали приказ об увольнении в запас.

И лишь один вопрос никак не укладывался в отработанную схему, потому что задавали его с завидной регулярностью абсолютно все, с кем приходилось общаться: от начальника политуправления флота до командира корабля, в офицерской кают-компани и в матросском кубрике. Звучал он одинаково: «Как вы относитесь к повести Юрия Полякова «Сто дней до приказа?»».

Разумеется, никто не ждал литературоведческого анализа; вопрос был своего рода лакмусовой бумажкой, по которой определялось мое отношение к армии в целом и, следовательно, делался какой-то прогноз относительно того, чего от меня можно ждать. Совпадение взглядов подразумевало дальнейший контакт и доброжелательное, доверительное отношение, несовпадение — настороженность и общение на уровне «все у нас есть, никогда так хорошо не было, как сейчас...». Иными словами, вопрос-пароль делил собеседников на «своих» и «чужих», причем

Окончание на 10-й стр.

Утро выдалось ясным и солнечным, предвещающая погожий, на переломе лета, день; в изумрудной траве сладко пахли цветы. К десяти часам жители поселка потянулись на пятачок между банком и почтой; в других городах людей собирали накануне, и лотерея длилась два дня — такая там тьма народу, а здесь всего триста душ, так что дел часа на два, можно и к обеду управиться.

Детвора, как водится, сбежалась раньше всех. Каникулы начались недавно, и дети с трудом привыкали к воле, безудержное веселье раскручивалось не вдруг. Бобби Мартин уже набил карманы камнями, другие не отставали, выбирали самые крупные и гладкие. Бобби, Гарри Лоунс и Дикки Делакура — или попросту «Деллакрой» — соорудили целую пирамиду на краю площади и стойко обороняли ее от других мальчишек. Поодаль беседовали девочки, искоса поглядывая на ребят; малыши возились в пыли или цеплялись за старших сестер и братьев.

Подшли отцы; убедившись, что их чада на месте, затеяли разговор о посевах и дожде, косилках и налогах. Стоя в стороне от кучи камней, они перешучивались, но не очень бойко, вслух никто не смеялся. Вслед за мужчинами явились их жены в линялых домашних платьях и кофтах, здороваясь и сплетничая на ходу. Детей пришлось окликать по нескольку раз: Бобби Мартин ловко вывернулся из цепких материнских рук и бегом назад, к куче. Суровый окрик отца догнал его, и он тут же вернулся и встал рядом со старшим братом.

Лотерею проводил господин Саммерс — круглолицый добродушный толстяк, у которого на все находилось время и силы: он работал управляющим шахтой и устраивал викторины для подростков, танцы, маскарады. Люди жалели его: жена больно сварливая, да и детишек нет. Когда господин Саммерс появился на площади с черным деревянным ящиком, толпа оживилась. Он приветственно взмахнул рукой:

— Друзья мои, я сегодня припозднился.

Господин Дрейвз, почтмейстер, шел следом, неся трехногую табуретку. Ее установили в центре площади, и господин Саммерс водрузил ящик на табуретку. Люди держались на почтительном расстоянии.

— Друзья, помочь не желаете? — Вопрос господина

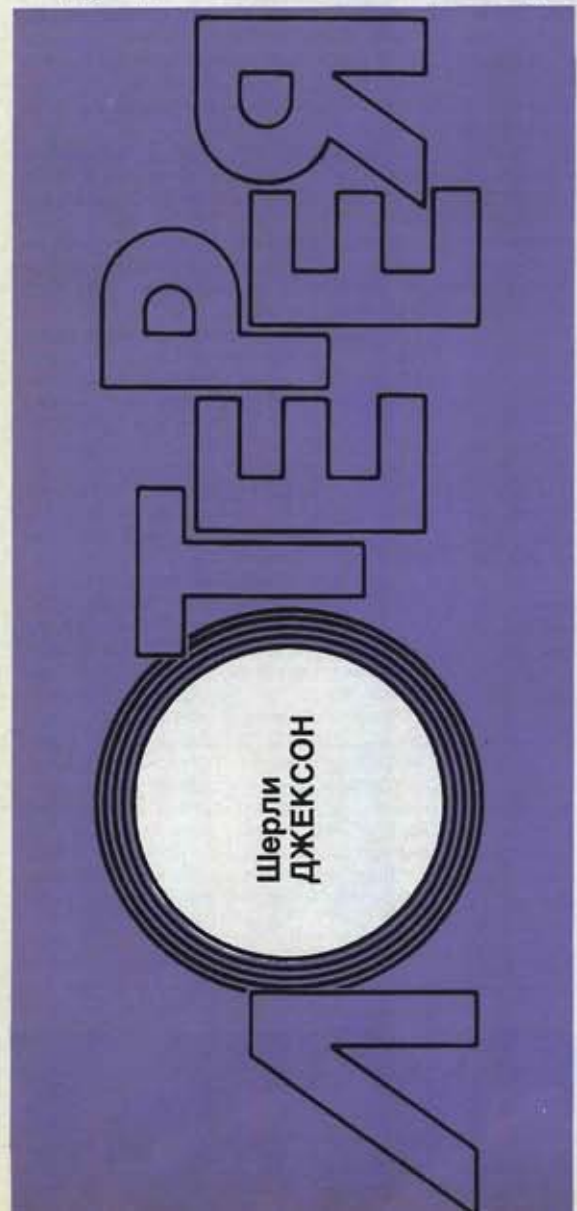


Рисунок Олега ТУРКОВА

Саммерса вызвал замешательство в толпе. Наконец вперед вышли господин Мартин и его старший сын Бакстер. Они придерживали ящик, а господин Саммерс перемешивал внутри бумажки.

Лотерейные принадлежности потерялись давным-давно, их заменили черным ящиком еще до рождения старика Уорнера, а старше его в поселке никого не было. Каждый год после лотереи господин Саммерс заводил речь о новом ящике, но поддержки не нахо-

дил: ветхий черный ящик являл собой пусть угасающую, но все же традицию.

Господин Мартин и его старший сын Бакстер крепко держали ящик, а господин Саммерс продолжал тщательно перемешивать бумажки — он заменил ими щепки, служившие многим поколениям. Спору нет — обычаи предков надо хранить, — отстаивал свое новшество господин Саммерс, — но одно дело — крошечная деревенька и совсем другое — целый город, где людей

за три сотни, а они все продолжают рожать. Этак в ящик не только щепки, бумажки скоро не влезут. Накануне лотереи господин Саммерс и господин Дрейвз готовили бумажки, клали в ящик и запирали до утра в сейфе господина Саммерса. А потом целый год ящик пылился то в сарае Дрейвза, то на почте, то на полке в бакалее Мартина.

Подготовить лотерею непросто. Надо всех переписать: отдельно — родовых старейшин, отдельно — кормильцев семей, отдельно — живущих на одном подворье. Почтмейстер приводил господина Саммерса к присяге, ведь распорядитель лотереи — лицо официальное. Люди вспоминали, как прежде распорядитель читал нареспособую молитву-заклинание, проговаривая ее каждый год перед лотереей наспех, без души. Одни говорили, что во время молитвы распорядитель стоял перед толпой, другие — что он ходил между людьми. Однако с течением времени этот обряд был забыт окончательно. На все был определенный ритуал, даже приветствовать участников распорядитель обязан был по-особенному, а теперь лишь перекинется словом-другим с теми, кто подходит тянуть жребий. Господин Саммерс справлялся прелестно; вот он стоит, говорит с Дрейвзом и Мартинами: белоснежная рубашка, синие джинсы, рука покоится на ящике — он на своем месте, он незаменим.

Когда господин Саммерс закончил беседу и повернулся к собравшимся, в толпу нырнула запыхавшаяся госпожа Катчинсон. Она даже не успела натянуть кофту.

— Напрочь забыла, что за день сегодня, — шепнула она соседке, госпоже Делакура. Обе тихонько засмеялись. — Думала, мой поленицу во дворе складывает, а потом гляжу, и ребятшек нет. Тут-то я вспомнила — и бегом сюда. — Она вытерла руки фартуком.

— Не бойся, не опоздала. Они там еще разговоры разговаривают, — успокоила ее госпожа Делакура.

Госпожа Катчинсон привстала на цыпочки, нашла глазами мужа и детей и, коснувшись на прощание руки госпожи Делакура, стала пробираться вперед. Люди беззлобно расступались, слышались возгласы: «Эй, Катчинсон, твоя половина плывет!», «Слышь, Билл, явилась не запыхалась!». Она встала рядом с мужем, а господин Саммерс бодро сказал:

— Тэсси, я уж боялся, без тебя начнем.
— Что ж, Джо, мне посуду немойтой оставлять? — усмехнулась она.

Люди, похмыкивая, сдвинулись плотнее.

— Пожалуй, пора, — степенно сказал господин Саммерс. — У всех дома дела, надо с этим кончать побыстрее. Кого нет?

— Денбара, — раздался голоса. — Денбара нет. Денбара.

Господин Саммерс заглянул в список.
— Так, Клайд Денбар. Числится. Ногу, говорят, сломал? Кто за него тянет?

— Я, наверное, — раздался женский голос.
Распорядитель вскинул глаза.

— Ага, за мужа жена тянет. Джейни, а взрослых сыновей в семье нет? — Господин Саммерс знал ответ не хуже других, но ждал его с подобающим интересом: формальности надо соблюсти.

— Хорасу нет еще шестнадцати, — вздохнула госпожа Денбар, — видно, придется мне.

— Ладно. — Господин Саммерс что-то пометил в списке. — А как наш юный Уотсон, тянет уже в этом году?

Паренек в толпе поднял руку.
— Я здесь. Тяну за мать и за себя. — Он смущенно помаргивал и вовсе потупился, когда раздался голоса: «Молодец, Джек!», «Слава богу, есть у матери мужчина в доме!»

— Что ж, — промолвил господин Саммерс. — Остальные здесь. Старик Уорнер доплелся?

— Вот он я, — отозвался Уорнер, и довольный господин Саммерс кивнул.

Над толпой повисла мертвая тишина.

— Все готовы? — спросил господин Саммерс. — Я сейчас буду называть фамилии — подходите и берите из ящика одну бумажку. Пока не вытянут все, бумажку не разворачивать. Ясно?

Повторялось это каждый год, поэтому люди слушали вполуха, глядя в землю и облизывая пересохшие губы.

— Адамс!
От толпы отделился мужчина и вышел вперед.

— Привет, Стив, — сказал господин Саммерс.
— Привет, Джо.

Они мрачно и криво улыбнулись друг другу. Господин Адамс запустил руку в ящик и вытащил свернутую трубочкой бумажку. Он крепко ухватил ее за кончик и поспешно вернулся на место, встав чуть в стороне от семьи. На руку свою он не смотрел.

— Аллен! Андерсон!.. Бентам!..
В задних рядах перешептывались госпожа Дрейвз и госпожа Делакура:

— Лотереи теперь так и мелькают. Год прошел, а вроде только на прошлой неделе собирались.

— Да, время летит, — отозвалась госпожа Дрейвз.
— Гларк!.. Деллакрой!..

— Мой старик пошел. — Госпожа Делакура затаила дыхание и завороченно смотрела на мужа, пока тот тянул жребий.

— Денбар!..
Госпожа Денбар подошла к ящику твердым шагом.

«Давай, Дженни!», «Надо же — не боится!» — раздались женские голоса.

— Теперь мы, — сказала госпожа Дрейвз. Ее муж обошел ящик, чопорно поприветствовал господина Саммерса и выбрал себе бумажку. Мужчины в толпе мяли в ручищах маленькие бумажные трубочки.

— Картбурт!.. Катчинсон!..
— Не проси, Билл, — сказала госпожа Катчинсон.

Люди вокруг засмеялись.

— Лоунс!..
— Поговаривают, — повернулся господин Адамс к старику Уорнеру, — в соседнем поселке скоро отменят лотерею.

— Дурни они все чокнутые, — крикнул старик. — Молодежь послушаешь, все им не так. В пещерах жить да бездельничать — вот чего они хотят. Раньше даже присказка была: «Коль в июне лотерея — урожая жди скорее». А теперь траву да желуди скоро жрать начнем. Лотерея всегда была и будет! — негодовал он. — Только противно смотреть, как этот юнец, Джо Саммерс, скоморошничает.

— А кое-где лотерею уже отменили, — сказал господин Адамс.

— И ничего хорошего не жди, — заверил старик Уорнер. — Дурни желторотые!

— Мартин!..
Бобби Мартин глядел во все глаза, как отец тянет жребий.

— Овердак!.. Перси!..
— И чего возятся, — сказала госпожа Денбар старшему сыну. — Поскорей бы.

— Да почти кончили, — отозвался тот.
— Кончат — сразу к отцу беги.

Господин Саммерс выкрикнул свою фамилию, сделал шаг вперед и вытянул жребий.

— Уорнер!..
— Семьдесят седьмой раз тяну, — вышел вперед старик. — Семьдесят седьмой.

— Уотсон!..
Высокий паренек неуклюже пробрался сквозь толпу. Кто-то крикнул:

— Не дрейфь, Джек!
— Выбирай спокойно, сынок, — сказал господин Саммерс.

— Янины!..
Воцарилась долгая тишина. Люди замерли. Господин Саммерс поднял вверх свой жребий:

— Ну что ж, друзья...
Мгновение спустя бумажки были развернуты. Внезапно женщины разом заговорили: «Кто, кто это?» — «Кто вытянул?» — «Денбары?» — «Что, Уотсоны?» — «Катчинсон.» — «Билл!» — «Катчинсону досталась».

— Беги, скажи отцу, — велела госпожа Денбар старшему сыну.

Люди смотрели на Катчинсонов. Билл стоял молча, отупело глядя на бумажку в руке. Вдруг Тэсси Катчинсон набросилась на господина Саммерса:

— Ты не дал ему выбрать! Я сама видела. Так нечестно!

— Тэсси, держи себя в руках, — сказала госпожа Делакура, а госпожа Дрейвз добавила:

— Шансы у всех равны.
— Заткнись, Тэсси, — буркнул Билл Катчинсон.

— Увы, друзья, — сказал господин Саммерс, — мы и в самом деле спешили. Да и теперь надо поторопливаться, чтоб закончить вовремя. — Он заглянул в следующую списбок.

— Билл, ты тянул жребий как глава рода Катчинсонов. Кроме вас, есть в роду другие семьи?

— Еще Дон и Эва, — закричала госпожа Катчинсон. — Пусть тоже тянут!

— Замужние дочери принадлежат роду мужа, Тэсси, — мягко сказал господин Саммерс. — Ты это знаешь не хуже нас.

— Так нечестно, — твердила Тэсси.
— Все правильно, Джо, — вздохнул Билл. — Дочка тянет с мужем, честь по чести. А у нас, кроме младших, и семьи-то нет.

— Значит, ты у нас и глава рода, и кормилец всей семьи. Так, что ли?

— Так, — ответил Билл.

— Детей сколько? — спросил, как подобает, господин Саммерс.

— Трое. Билл-младший, Нэнси и Дейв. Ну, еще мы с Тэсси.

— Все ясно. Гарри, вы забрали бумажки?
— Конечно.

— Опустите четыре в ящик. И у Билла возьмите, — велел господин Саммерс.

— Я предлагаю начать сначала. — Госпожа Катчинсон старалась говорить сдержанно. — Ведь так нечестно. Ты совсем не дал ему выбрать. Все видели.

Пять бумажек для семьи Катчинсон господин Дрейвз бросил в ящик, а остальные на землю. Их подхватил и закружил легкий ветерок.

— Люди, ну подождите, — молила госпожа Катчинсон.

— Готов, Билл? — спросил господин Саммерс.
Билл взглянул на жену и детей и кивнул.

— Не забудьте, бумажки не разворачивать, пока не вытянут все. Гарри, помогите Дейву.

Господин Дрейвз взял ребенка за руку, и тот доверчиво потопал за ним к ящику.

— Дейви, возьми бумажку из ящика, — сказал господин Саммерс.

Малыш запустил ручонку внутрь и засмеялся.
— Только одну, Дейви. Так, Гарри, теперь заберите у него.

Господин Дрейвз разжал кулачок ребенка и взял свернутую бумажку. Дейви так и остался рядом с ним, недоуменно поглядывая на взрослых.

— Теперь Нэнси, — промолвил господин Саммерс.

Вперед вышла девочка лет двенадцати в длинной широкой юбке. Ее подружки следили, как она придирчиво выбирала бумажку из ящика.

— Билл-младший.
Доставая жребий, Билли зарумянился и чуть не сбил табуретку большими не по возрасту ногами.

— Тэсси.
Она замерла, вызывая ослепительную толпу, прошла к ящику, поджав губы, выхватила бумажку и спрятала ее за спиной.

— Билл.
Билл Катчинсон долго нашаривал в ящике последнюю бумажку.

Толпа затихла. Какая-то девчушка прошептала: «Лишь бы не Нэнси». Ее услышали все до единого.

— Да, времена не те, — громко произнес старик Уорнер. — И народ не тот.

— Что ж, — сказал господин Саммерс. — Разверните. Гарри, помогите Дейву.

Господин Дрейвз развернул бумажку, и в толпе облегченно выдохнули — чисто.

Нэнси и Билл-младший развернули одновременно, просияли и замахали чистыми листками над головой.

— Тэсси.
Та замешкалась, и господин Саммерс посмотрел на Билла. Тот развернул свою бумажку, она была чиста.

— Значит, Тэсси, — прошептала господин Саммерс. — Билл, покажи всем ее жребий.

Билл Катчинсон подошел к жене и вырвал листок из сжатого кулака. На нем была черная метка. Ее поставил господин Саммерс накануне вечером в конторе угольной компании. Билл поднял бумажку вверх, и толпа зашевелилась.

— Что ж, друзья, — сказал господин Саммерс. — Пора кончать.

Люди позабыли ритуал, позабыли, каков был прежний черный ящик, но они не забыли про камни. Мальчишки с утра заготовили целую кучу, да и вся площадь была усеяна камнями, меж которых ветер гонял лотерейные бумажки. Госпожа Делакура выбрала такой булыжник, что пришлось поднимать его двумя руками.

— Давай скорей, — торопила она госпожу Денбар. — Бегом.

Госпожа Денбар разогнулась с двумя пригоршнями мелких камешков и, отдуваясь, сказала:

— Да я и бегать не умею. Ты уж иди, а я следом.

Дети держали камни наготове, кто-то сунул несколько камней маленькому Дейви.

Тэсси Катчинсон оказалась одна в центре круга, со всех сторон на нее надвигались люди. Она умоляюще протянула к ним руки:

— Это несправедливо!
Первый камень угодил ей в висок.

Старик Уорнер приговаривал: «Ну-ка, все, ну-ка, разом!» Впереди шагала Стив Адамс, рядом семеняла госпожа Дрейвз.

— Это нечестно, несправедливо! — закричала Тэсси Катчинсон. Ее поглотила толпа...

если ты стал «своим» в матросском кубрике, то по мере восхождения «наверх», к капитанскому мостику и адмиральскому салону, становишься все более «чужим». Это не умозрительные рассуждения, а вполне реальный опыт моего общения с экипажем «Киева».

Дело, собственно, не в повести. Просто когда сакраментальный вопрос задавал начальник полуправления флота, то в модуляциях его хорошо поставленного голоса четко улавливалась предупреждение: проблемы Вооруженных Сил не должны обсуждаться дилетантами и армия достаточно сильна, чтобы справиться со своими трудностями самостоятельно. И вообще задача писателей и журналистов — не выметать сор из избы, а убеждать народ в том, что «если завтра война», то мы «нанесем наш ответный...»

В способности нанести «наш ответный» никто, пожалуй, не сомневается. К этому нас приучили долгими годами лозунговой терапии, парадными репортажами, когда сладко замирает сердце от гула гусениц по гранитной мостовой, сусальными картинками из жизни Вооруженных Сил в программе «Служу Советскому Союзу», которую на флоте называют «В гостях у сказки».

Человеческая доверчивость на этот счет чисто психологически легко оправдывалась: на фоне всеобщего бардака, пронизавшего все сферы жизни на «гражданке», хотелось увидеть хоть какое-то светлое пятно, где еще царят ответственность и порядок, и армия, уловив конъюнктуру, с упорством, достоянием лучшего применения, стремилась заполнить этот вакуум демонстрацией собственной безукоризненности и совершенства, ополчаясь всей своей мощью против попыток «посторонних» залезть в душу. Любая критика приравнивается к «подрыву обороноспособности», и эта позиция чрезвычайно опасна, потому что ни одна система в нашем взаимосвязанном мире не может вариться в собственном соку, не опасаясь застоя и регресса.

Я приехал на Северный флот отнюдь не за тем, чтобы вылавливать «чернуху». И бог с ними, с самолетами, которые не летали, зато я увидел и услышал людей, чье отношение к делу и определяет уровень обороноспособности страны. А их отношение к делу зависит от массы составляющих — больших и малых, о которых и хотелось рассказать. Эти ребята задают себе очень много вопросов — иногда наивных, чаще серьезных. Далеко не на все они могут ответить сами, да это и не только их проблемы: надо перестать рассматривать обеспечение безопасности как ведомственную задачу, как вопрос, который целиком находится в ведении армии. Речь идет о безопасности всего общества, потому общество — военные и гражданские, профессионалы и дилетанты — имеет право принять участие в открытой демократической дискуссии о путях и средствах ее обеспечения.

А пока вопросы остаются...

ОТ РЕДАКЦИИ:

Вопросы, еще недавно казавшиеся риторическими, стоят сегодня во всей остроте. Проблема перестройки армейской системы волнует всех. Она обсуждается на страницах газет и журналов, в выступлениях экономистов и публицистов. Но, к сожалению, пока молчат сами военные. Может быть, они ждут, что общество должно само приспособиться к их нуждам? Или все-таки необходимо встречное движение?

Публикуя материал нашего корреспондента, мы приглашаем всех, и прежде всего профессиональных военных, к серьезному разговору о будущем армии, о ее роли и месте в обществе. Какой будет армия? Надо ли сохранить старый принцип ее комплектования с обязательной воинской повинностью или стоит перейти на вольнонаемную систему? Как обеспечить правовую защищенность военного в условиях единоначалия? Как вернуть армейской службе романтику и привлекательность? Мы ждем ваших писем.

смена '80

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

Сергей МЯСОЕДОВ,
кандидат экономических наук

Хотя «светлое завтра» и маячит где-то в грядущем веке, оно нам, конечно, небезразлично. Но как бы мы ни абстрагировались, ни отрешались от действительности, а нужды сегодняшнего дня все же берут свое, и мы вновь и вновь задаемся теми же вопросами, что и вчера: станет ли жизнь разнообразнее? Появятся ли на полках магазинов качественные товары? Остановится ли рост розничных цен? Когда исчезнет распроданный дефицит?

Здравомыслящий человек, не имеющий левых и незаконных доходов, понимает: дабы не омрачать и без того невеселое свое существование, не бегать по соседям в поисках трешки до зарплаты — расходы не должны превышать доходы. Альфа и омега бытия. Сметка, сообразительности простых советских людей, возможно, мог бы позаимствовать предприимчивый житель Запада: прожить на 40—80—100—150 рублей надо еще суметь, причем минуя все статьи уголовно-процессуального кодекса. Как мы живем, мы знаем, знаем, что за билеты Государственного банка СССР в наших карманах.

Однако время от времени ловим себя на мысли: а в каком, собственно, состоянии государственный карман, то бишь бюджет, какие и на что идут народные деньги, нет ли в нем прорех? Нас это волновало и волнует не ради праздного любопытства и уж тем более не из-за скуки смертной. Мы ведь понимаем: госбюджет подчинен тем же законам, что и наш собственный кошелек.

На протяжении послевоенного, отчасти и довоенного периода от советских людей тщательно скрывали данные о бюджете СССР.

Теперь мы узнали правду: на XIX Всесоюзной конференции КПСС впервые сказано о «дыре» в государственном «кошельке». Затем на октябрьской, 1988 года сессии Верховного Совета СССР определена и конкретная цифра финансового дисбаланса нашего народного хозяйства — в Законе о Государственном бюджете на 1989 год дефицит зафиксирован на уровне 35 миллиардов рублей... Тогда же глава финансового ведомства призвал «осуществить в 1989—1990, годах первоочередные меры по изысканию новых источников доходов, установлению режима жесткой экономики в расходовании государственных средств».

Но действительно ли ситуация столь серьезна? Ведь, как было официально объявлено, бюджетные дефициты существовали в нашей стране как минимум в течение последнего десятилетия. Есть все основания утверждать, что с этой проблемой мы сталкивались и раньше. Дело в том, что дефицит дефициту рознь. Умеренный бюджет-

ный дефицит может выступать эффективным рычагом стимулирования экономического роста, структурной модернизации экономики, наконец, источником для выполнения социальных программ. Доказательство тому — вся послевоенная экономическая практика развитых капиталистических стран. Иначе говоря, вопрос не в самом нашем дефиците, а в его огромных размерах. Планируемый 35-миллиардный дефицит уже не является «умеренным». Однако обращает внимание и другая цифра из доклада Б. Гостева на сессии Верховного Совета СССР. Оказывается, государство в текущем году намерено из государственной казны взять займы дополнительно 63 400 000 000 рублей! А взятые в долг деньги — это не решение финансовой проблемы, это тоже показатель дефицита.

Иными словами, объявленный тридцатипятимиллиардный дефицит — это лишь полуправда о состоянии финансов страны, а точнее сказать, треть правды. Реальное положение дел намного серьезнее — запланированный бюджетный дефицит приближается к отметке в 100 миллиардов рублей. А если, как это было в 1988 году, расходы будут расти «сверх плана», а доходы — отставать от планируемых, — дефицит может превысить и эту величину. В мировой экономической практике считается «экономически опасным» дефицит, превышающий 7 процентов от уровня расходов страны.

Сто миллиардов рублей дают величину почти в три раза большую! Дефицит в таком размере — эпицентр финансовой разбалансированности, генератор негативных экономических процессов.

Мировая экономическая практика знает два основных пути покрытия бюджетного дефицита. Первый: использование печатного станка, то есть выпуск (эмиссия) бумажных денег. Второй: займы — либо у государственного банка, либо у населения.

Но выпуск не обеспеченных товарами бумажных денег — верный путь к инфляции, с чем мы, к стати, и столкнулись. Причем, если прибегать к услугам печатного станка слишком часто и печатать помногу, инфляция может стать неконтролируемой. Покрытие крупных дефицитов за счет займов — это тоже своего рода мина замедленного действия. Ведь займы когда-то надо возвращать, и, как правило, с процентами.

Вплоть до самого последнего времени эмиссия необеспеченных дензнаков частично «компенсировалась» так называемым «отложенным спросом» населения, то есть быстрым ростом денежных сбережений. Однако надежность этого стабилизатора неожиданно

резко снизилась. Джинн инфляции, вскормленный дефицитами, вырвался из бутылки. Что же произошло?

Существует непреложный экономический закон: денег в обращении должно находиться столько, на сколько общество может предоставить товаров и услуг. Отклонения как в ту, так и в другую сторону чреватые большими неприятностями как для финансовой системы, так и всего народнохозяйственного механизма. Если на общую массу товаров и услуг приходится в два раза больше бумажных денег, то цены немедленно ползут вверх и становятся примерно в два раза выше.

В нашей стране положение несколько отличается от приведенной классической формулы. По официальным данным, сегодня в Советском Союзе на 80 процентов предлагаемых населению товаров и услуг цены являются неизменными. Правда, остается колхозный рынок и кооперативная торговля с их неуправляемыми ценами, спекуляция теневой экономики.

В государственной же торговле обнаруживается любопытная ситуация. Платежеспособность населения растет. Цены же имеют определенные пределы в своем росте. Инфляция, вызванная дополнительным выпуском необеспеченных бумажных денег, проявляет себя очень коварно — через товарный голод.

Расчет тут довольно прост. Если на рынке 20 рублям противостоит товарная масса с фиксированной ценой в 10 рублей, то, не будучи экономистом, можно предсказать, что нужный вам товар исчезнет с прилавка и будет продаваться с «черного хода» за 20 рублей вместо положенной по госцене десятки. Или же вы купите его за 10 рублей, но с другим «червонцем» — находитесь по магазину, чтобы его отоварить. Недаром у нас сложилась житейская философия: в магазин всегда нужно заходить с деньгами, вдруг что-нибудь выбросят. И мы зачастую покупаем не то, что нужно, не то, что нравится, а что дают: вместо зимнего пальто — велосипед или вместо сапог — косметику... Между тем под давлением инфляции полки в магазинах все больше пустеют.

Правда, человек, который вдоволь набегался по торговым точкам и ничего не смог купить, может распорядиться рублем иначе — положить его в сбербанк или даже «в чулок», что на языке экономиста и означает «отложенный спрос».

И хотя со страниц газет, с экранов телевизоров и из репродукторов нас долгое время убеждали в стабильности цен в нашей стране, мы этим заверениям не очень-то верили. А руководители финансового ведомства отгородились

от справедливых вопросов советских граждан, интересующихся, почему падает их жизненный уровень, своеобразным бумажным щитом. Ответ, прямо скажем, малоубедителен: дескать, у нас до сих пор не разработана методика определения индекса стоимости жизни, а раз так, то нечего и говорить о том, падает он или повышается. Вот на Западе есть этот индекс, и он показывает: жизнь там ухудшается, а у нас этого не может быть, потому что быть не может. Между тем цены с каждым годом растут.

На вопрос: отчего дороговизна? — порой слышишь: денег много у населения, есть спрос.

Действительно, в обращении находится и без того слишком много бумажных денег, а может стать еще больше. К чему, спрашивается, идем? Достаточно вспомнить не столь далекое прошлое, начало 20-х годов, когда коробок спичек стоил несколько тысяч бумажных рублей, а месячная заработная плата рабочего выдавалась миллионами обесцененных бумажек...

До сих пор на страницах газет и журналов идет обсуждение предстоящей реформы ценообразования. Ее необходимость объясняется тем, что заработная плата опережает рост производительности труда, наблюдается отрыв оптовых цен от розничных, разбухание государственных дотаций — особенно на производство сельскохозяйственной продукции и так далее. Говорилось и писалось о том, что без кардинального пересмотра системы цен невозможен переход на полный хозрасчет, оптовую торговлю средствами производства, а в перспективе — превращение советского рубля в конвертируемый.

Опросы общественного мнения, к которым мы начали прибегать в последнее время все чаще, показывают крайнюю непопулярность самой идеи пересмотра цен. Выявились массовые опасения, что предлагаемая реформа отрицательно скажется на жизненном уровне широких слоев населения, и прежде всего малообеспеченных, что ее основной смысл состоит в повышении розничных цен.

Реформа еще не началась, а ожидания и опасения рядовых граждан нашей страны уже превратились в важнейший фактор, ухудшающий финансовую ситуацию. Отсутствие исчерпывающей информации о готовящейся реформе цен, слухи о скором всеобщем подорожании помогли многим людям преодолеть «склонность к сбережению» — и «отложенный спрос» резко превратился в реальный: деньги, накопленные «в чулках», устремились на рынок. Пришедшие в движение сбережения из стабилизатора денежного обращения превратились в ускоритель дефицита товаров. С прилавков магазинов моментально исчезли те виды товаров, от которых до этого ломились склады и подсобки: телевизоры, холодильники, стиральные машины, зубная паста, мыло, стиральные порошки и так далее. Последняя инфляционная вспышка приняла затяжной, а главное, опасный характер.

Сложность обстановки усиливается давлением необеспеченных денег, розничных бюджетных дефицитов, который грозит в будущем серьезными экономическими последствиями, о многих из которых мы можем сегодня только догадываться. Если говорить по большому счету, то поставлен под вопрос успех всей перестройки. Сейчас недопустимо, как страусам, прятать голову в песок при виде приближающейся опасности. Чтобы предотвратить угрозу, нужен здравый смысл и смелость в принятии необходимых и кардинальных мер.

Справедливости ради скажем: Министерство финансов проявляет озабоченность состоянием денежного обращения в стране, развитием кредита

и наметило ряд крупных мероприятий. Среди них — отказ от покрытия убытков нерентабельных предприятий, повышение гибкости кредита, распродажа на оптовых ярмарках колоссальных излишков материальных ценностей предприятий — а они составляют 470 миллиардов рублей, перегруппировка финансовых вложений в пользу отраслей группы «Б».

Нелепо, скажем, возражать против перегруппировки финансовых ресурсов в пользу группы «Б». Но давайте не забывать, что поставленная проблема — долгожитель. О необходимости ее решить говорилось еще в начале 70-х годов. Теперь вроде бы предпринимаются конкретные шаги. Но когда будет отдача и страна получит необходимое количество переупорядоченных или отстроенных заново предприятий легкой и пищевой промышленности? Минимум через несколько лет. А учитывая размеры накопившихся диспропорций (на долю легкой и пищевой промышленности приходится лишь около 10 процентов общей стоимости промышленно-производственных фондов страны) и объем неудовлетворенного платежеспособного спроса, — в лучшем случае к концу следующей пятилетки.

При всей очевидной необходимости предполагаемых мер они между тем страдают одним крупным недостатком: рассчитаны лишь на перспективу, должны принести результат... «завтра». Что же касается сегодняшнего дня, то здесь пути выхода из образовавшегося тупика пока вырисовываются слабо.

Очевидно, что попытка уменьшить товарный голод за счет расширения продажи спиртных напитков (в застойный период это приносило в бюджет ежегодно порядка 12 миллиардов отоваренных «пьяных» рублей) вряд ли переломит негативные тенденции. Во всяком случае, товарный дефицит растет.

Пожалуй, наиболее серьезный экономический эффект следует ожидать от решения ЦК КПСС и Советского правительства о перепрофилировании части мощностей оборонной промышленности для выпуска товаров народного потребления и оборудования для легкой и пищевой промышленности, а также от сокращения численности Вооруженных Сил страны на 500 тысяч человек. Оснащенные более современным оборудованием мощностей бывших оборонных заводов будут уже в ближайшие годы способствовать расширению возможностей отраслей группы «Б». Одновременно снизится инфляционное давление военных расходов на национальную экономику. Ведь рубли, выплачиваемые за нелегкий ратный труд и производство дорогостоящей военной техники, как правило, не связаны с товарным обеспечением рынка. Однако результат опять-таки скажется лишь завтра.

Но начинать укрепление рубля надо именно сегодня. Без окрепшего рубля невозможны ни полный хозрасчет, ни многоканальная оптовая торговля, ни эффективное материальное стимулирование. Без укрепления рубля сегодня мы не сможем обеспечить завтрашний успех хозяйственной реформы. А потому наш внутренний рынок необходимо — и как можно быстрее — насытить товарами и услугами. Находящиеся в обращении бумажные деньги настоятельно требуют товарного обеспечения.

Реальный выход — это расширение закупок товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов за рубежом. Могут спросить: откуда взять валюту? А перераспределение средств, идущих на закупку импортного оборудования? Сколько его на сегодняшний день хранится на складах, а то и просто валяется под открытым небом! Сумма только неиспользованного импортного оборудования — более четырех мил-

лиардов рублей. Пора перестать выбрасывать валюту на ветер и начать закупать то, в чем остро нуждается советский человек. В нынешних же условиях это не только социальная, но и экономическая необходимость.

На импортозамещение и насыщение внутреннего рынка, а не на экспорт должны ориентироваться в своей деятельности на ближайший период совместные предприятия. Это, к слову сказать, повысит и интерес Запада к их созданию. В конечном итоге **экспорт нужен, чтобы заработать валюту, а валюта — чтобы купить товары за рубежом.** Так не проще ли — где возможно — сразу и производить, исходя из потребностей советского внутреннего рынка?

Не менее важной, на мой взгляд, является борьба с хлынувшим на рынок «отложенным спросом». И в данной ситуации также требуются экстренные меры. Почему бы не отказаться от проектов, связанных с существенным повышением розничных цен? В противном случае можно ожидать новой вспышки «эффективного спроса», когда к деньгам, взятым из «чулок» и «кубышек», могут присоединиться деньги, снятые со счетов в сберегательном банке. А их общая сумма достигает, как известно, трех четвертей объема розничного товарооборота страны. Если это произойдет, то **государство может оказаться на грани банкротства**, ибо будет не в состоянии удовлетворить насущные потребности населения.

Как ни крути, а оздоровление финансов и укрепление рубля требуют остановки станка, который печатает бумажные деньги, не обеспеченные товарами.

Как ни крути, а Госбюджет не должен «подкармливать» предприятия, а тем паче убыточные; о своем благополучии пусть пекутся сами, изыскивая возможности для производства собственной продукции. А такие возможности появляются.

Разрешен выпуск акций и облигаций. Первый шаг сделан. Совет Министров СССР принял постановление от 15 октября 1988 года об акциях. Теперь ценные бумаги могут выпускаться и распространяться в трудовых коллективах с выплатой по ним процентов (дивидендов), размеры которых определяются результатами работы. Правда, ценные бумаги, названные в данном постановлении акциями, таковыми не являются. По существу, это бессрочные облигации с плавающим процентом. К тому же они жестко ограничены в сфере распространения. Снятие различных рогаток на пути акций, одновременное развитие оптовой торговли позволило бы, по моему твердому убеждению, не только облегчить бремя расходов государственного бюджета, но и отвлечь значительную часть денежной массы с потребительского рынка.

Но потенциал акций может быть реализован только при одном условии — свободной их продаже и покупке. Иными словами, при наличии в стране рынка ценных бумаг — естественно, под государственным контролем.

Предугадываем, что некоторые ревнители политэкономической чистоты тотчас возразят: это возврат к замшелому капитализму. Противникам советской биржи отвечаем: не волнуйтесь, никакого искажения, а тем более отступления от социализма мы не предлагаем. Ни в ценных бумагах, ни в фондовой бирже, где они обращаются, нет ничего чуждого нашему родному социалистическому хозяйству. Достаточно вспомнить 20-е годы, когда успешно работали фондовые отделы при товарных биржах, которых насчитывалось более ста, что почти на два десятка больше, чем в царской России. И прекратили они свое существование не потому, что не оправдали себя, а потому, что не вписывались в Административно-командную Систему.

Наверняка возникнут и другие возражения против фондового рынка: мол, на нем будут отмывать деньги, заработанные нечестным путем, возможна спекуляция, появление советских рантье, которые будут стричь купоны и жить на нетрудовые доходы.

Что ж, такую возможность вряд ли кто осмелится отрицать. Но если встать на эти позиции и думать только о борьбе с жуликами и коррумпированными элементами, то первое, что по этой логике надо сделать, — закрыть... государственную розничную сеть и продовольственные магазины в том числе. Именно на этой ниве десятилетиями процветали такие преступники, как Соколов, Трегубов и другие. А теперь у меня вопрос: разве широкие возможности для теневой экономики создавались не благодаря обесценению рубля и нарастанию товарного голода? В том же ключе готов задаться и другими вопросами.

Да, и ценными бумагами можно спекулировать. Но если рассматривать спекуляцию в ее классическом понимании, то она связана главным образом с операциями, заключаемыми на определенный срок. А они легко могут быть запрещены, как это сделано законодательством ряда капиталистических стран. Что же касается нетрудового происхождения дивидендов, то ведь и проценты, начисляемые на вклады в сбербанке, тоже следует тогда причислить к нетрудовым доходам. Тогда надо и с этим кончать.

Будем говорить всерьез: у акционерного предпринимательства большое будущее, ибо акции — это и самоуправление трудовых коллективов, и большая личная заинтересованность в результатах труда всего предприятия, возможность для расширения самофинансирования, развития и модернизации производства без привлечения централизованных бюджетных ресурсов. Акции — это и решение давней проблемы нерентабельных производств и установление прочных прямых связей в рамках производственной кооперации. Словом, акции позволят уменьшить расходные статьи государственного бюджета и укрепить советский рубль.

Разумеется, есть и другие пути, способные улучшить ситуацию на нашем внутреннем рынке, смягчить давление «отложенного спроса» и способствовать стабильности рубля. Видятся, к примеру, новые формы вкладов в сберегательном банке: с более высокой процентной ставкой, с плавающей ставкой, учитывающей движение цен и тому подобное. Сегодня, к сожалению, финансовая система страны не отличается гибкостью. Это в первую очередь относится к государственному фондовому рынку, где в гордом одиночестве обращаются лишь государственные выигрышные облигации, названные в народе «золотым займом». Такой скромный набор ценных бумаг, ясно, не делает нам чести.

Успех проводимой в стране хозяйственной реформы прежде всего зависит от того, насколько быстро мы перейдем к экономическим методам управления народным хозяйством, полному хозрасчету, децентрализованному снабжению на основе оптовой торговли, прямой кооперации на коммерческой основе. Но, как справедливо отмечают экономисты, «переход к оптовой торговле невозможен, пока в народном хозяйстве обращаются излишки, избыточные деньги». Это тот случай, когда один рубль лучше двух. Оздоровление финансовой системы страны, стабилизация советского рубля — задача не одного дня. Но братья за ее решение нужно безотлагательно, сочетая стратегические планы с незамедлительными тактическими мерами. Из сегодняшних локальных достижений и будут складываться завтрашние победы.



сарафан навыврост

Наталья
РОДИОНОВА

Попробуйте вообразить: ло-
скутное одеяло, песенный крас-
ный сарафан, разлетное платье
с сегодняшней улицы, лапти, ту-
фли, тапочки... А теперь все сме-
шайте!

И вы увидите, как выходит на
сцену Ивановский студенческий
дом моделей. Его девиз: «Оде-
жда для молодежи — руками
молодых».

...В зале торопливо зарисовы-
вают: алое мини-платье-халат
с широкими плечами, осиной та-
лией и прелестным платком-ка-
пюшоном из ткани в крупные бе-
лые ромашки; юбки, трансфор-
мирующие наряд из обыденного
в экстравагантный, становящие-
ся то шлейфом, то пелериной.
А когда показ заканчивается,
зрители атакуют ведущую: «За-
казы принимаете?»

...Начинался Дом двадцать
с лишним лет назад. На моло-
дежных вечерах студенты дура-
чились, демонстрируя, как... не
надо одеваться. Потом занялись
изобретением красивой оде-
жды... для себя. Алевтина Кисе-
лева, тогдашняя студентка,
а сейчас общественный художе-
ственный руководитель Дома,
ассистент кафедры конструиро-
вания и технологии одежды,
вспоминая об этом времени, рас-
сказывает:

— Серьезной организацией мы
стали позже, в 1978 году. Получи-
ли собственную комнату, опре-
делили ролевую структуру Дома.
Желающих придумывать новое,
моделировать, шить оказалось
с избытком. Приходилось отби-
рать. Кстати, набор в СДМ до сих
пор конкурсный, из студентов
швейного факультета с 1-го по
5-й курс. Творческая группа со-
бирается раз в неделю...

— Зачем вам Дом? — спраши-
ваю у первокурсников.

— Ездим, смотрим, узнаем. Вот
у вас, в Москве, черный цвет
в моде, а у нас нет.

— Хочу стать модельером,
а это можно только через СДМ.

— Азы профессии, кто спорит,
нужны, но хочется и праздника...

Трудно, конечно, разделить
усилия СДМ и всего института:
«Дом — дитя кафедры», — гово-
рят преподаватели. И совершен-
но справедливо говорят.

Уже более шестидесяти сту-
денческих моделей — лучшие
дипломные и курсовые работы,
сделанные в СДМ, — переданы
для освоения швейным fabri-
кам. В фирменных магазинах они
нарасхват.



Пальто из ситца.
Оказывается,
это может быть
красиво,
элегантно и...
недорого.
Такие комплекты
уже закупил
городской
Молодежный
фонд
инициативы.



Фото Сергея ВЕТРОВА



А два года назад студентам из Иванова аплодировал Берлин. Аплодировал таланту, задору, молодости. На подиуме демонстрировался «фольк». Традиционные формы русских сарафанов, блузок, юбок дерзко сочетались с элементами модного авангардного костюма. Фейерверк ивановского ситца!

СДМ — дипломант Всесоюзного фестиваля студенческих домов моделей, участник культурной программы XXII летних Олимпийских игр, международных выставок в Монголии, Алжире, ГДР, Бразилии, Франции.

Хозрасчет... Он все действительно входит в практику Дома. Платные показы, договоры с магазинами, выполнение индивидуальных заказов... Создается кооператив, который будет сотрудничать с ивановскими текстильными предприятиями. Ведь еще недавно фабрики, комбинаты продавали студентам лишь полуметровые лоскуты. Теперь они заинтересованы в моделях Дома, в рекламе собственной продукции.

— У нас есть что предложить текстильной и швейной промышленности, — говорит модельер студенческого Дома моды Федор Клюев. — За пять лет мы получили более пятидесяти авторских свидетельств...

Есть в Иванове и Дом моделей Минлегпрома РСФСР. Я поинтересовалась, как уживаются любители с профессионалами.

— Никаких проблем, — отвечает художественный руководитель ДМ Светлана Суздальцева. — Ребята экспериментируют, но жизнь скорректирует их фантазии. Мы-то работаем на усредненного покупателя.

Может, поэтому, подумалось мне, и одеты мы так вот — «усредненно». А выдумка, творческий азарт любителей имеют огромный спрос. Непривычно, неожиданно, не похоже на все, что было раньше? Так это же здорово! С плюсом ли, с минусом — но от нуля, от усредненности!..

Посмотрите, как тот же Федор Клюев одевает своего сокурсника: джинсовая ткань и кружево. Пальто с льняными кружевами по крупным, словно из петровских времен, манжетам и воротнику. Так рождается новый образ мужественного молодого «русича».

...Ребята верят — их кооператив станет не только коммерческим предприятием, но и творческой лабораторией.

— Приезжайте к нам через год, увидите... Мы еще в Москву приедем — торговать и удивлять. Что же, время им в помощь.



Об этой коллекции спорили до криков: «Платье-знамя? Безиравственно...»

Зиновий ЮРЬЕВ

Осень 87-го года. Тренерский семинар в Сочи. Зал тихо подремывает. И вдруг выступающий упоминает слово «допинг». С места вскакивает заслуженный мастер спорта Валентина Тихомирова, пятиборка, ныне работающая с детьми. Экс-чемпионка Европы несколько секунд молчит, потом бросает в зал:

— Что нам делать с этим злом? Оно проникло уже в юношеский, да что в юношеский, в детский спорт...

Тишина сменилась гулом. Не потому возбуждена была аудитория, что услышали тренеры нечто новое. Почти все они знали, что только на последней спартакиаде школьников были зафиксированы десятки случаев употребления допинга. Это зафиксированы, а сколько остались незафиксированными?

Всуче было произнесено то, о чем в нашем спорте не говорится, а тем более не пишется.

Итальянская мафия сильна законом «омерты», то есть молчания: не видел, не слышал, не скажу...

Широкое применение допинга в нашем спорте окружено таким же заговором молчания.

Нарушивших закон «омерты» в Италии чаще всего ожидает пуля, страх перед которой и гарантирует хроническую слепоту, глухоту и выпадение памяти.

Наша доморощенная спортивная «омерта» успешно поддерживается и без выстрелов. Во-первых, ни закон, ни власти этим вопросом не интересуются и никого поэтому в свидетели не призывают. Во-вторых, всем заинтересованным прекрасно известно, что дикни они только о допинге, как вдруг выяснится, что места в сборной им больше нет, что их тренерские или врачебные должности неукротимо попадают под сокращение штатов. И прощай, стало быть, Нью-Йорк с его знакомым магазинчиком на Яшкин-стрит, где можно поторговаться на родном языке, или Токио, где так охотно дают экспортную скидку... А прощаться не хочется.

Теперь уже трудно установить, кто первый начал применять для поднятия результатов в спорте анаболические стероиды. Говорят, пионерами были американские метатели Коннолли и Оутер. Впрочем, это и не так важно. Важно, что «анаболический монстр», родившись, оказался на редкость живучим, пошел гулять по мировому спорту, требуя все новых и новых жертв.

Жертв? Не журналистское ли преувеличение?

Товский журнал «Фармакология и токсикология» № 1 за 1987 год: «Широкий спектр анаболических стероидов, их влияние на хромосомы и гены являются одной из причин тяжелейших осложнений...»

«Токсическое действие на печень... Известны случаи возникновения опухоли почек у людей, принимающих анаболические стероиды».

Стероиды наносят страшный удар по гормональной системе. У мужчин они приводят к атрофии яичек, снижению количества спермы, подавлению полового влечения, развитию тканей грудной железы (вспомните одного из известнейших в прошлом штангистов, который поглощал стероиды пригоршнями и которому впрору было носить бюстгальтер, правда, нестандартных размеров).

У женщин наоборот: «...понижается голос, увеличивается рост волос на подбородке и верхней губе... атрофируется матка... Прием анаболических стероидов может привести к бесплодию».

Американский специалист П. Зурер пишет в статье «Фармакологические

средства в спорте»: «У детей и подростков, которые продолжают расти, некоторые виды анаболических стероидов могут вызвать преждевременное сращивание костей, в результате чего ребенок не достигает полного роста».

Ужасно, скажете вы, как же спортсмены могут идти на эту фармакологическую голгофу? Во-первых, большинство думает: это они пугают... Преувеличивают, как всегда... Алкоголем и сигаретой тоже ведь пугают, такая уж у них работа. Некоторые успокаивают себя: это ведь при злоупотреблениях, а я осторожненько... Было бы уж так опасно, врач не давал бы мне эти таблетки. Третьи просто не осознают всю глубину угрозы, тающейся в анаболиках. И думают почти все не о каких-то там призрачных опасностях, а о медалях, славе и ее, так сказать, денежном эквиваленте. (На Олимпиаде в Калгари, например, наши спортсмены за золотую медаль получили 12 тысяч рублей, в том числе 4 тысячи долларов. В Сеуле с долларами было несколько похуже — 2 тысячи 800.)

Известная спортсменка рассказывает (взяв страшную клятву даже косвенно не навести на ее след спортивных Шерлоков Холмсов, однако имя ее в редакции есть):

— Чаще всего врач просто давал нам таблетки. «Это витамины», — туманно

ссылались с преступностью, доверив борьбу самим преступникам.

Кроме того, существует так называемая «программа». Обычно через 10 или 15 дней после приема препаратов анализы мочи уже ничего не показывают, а действие анаболики могут оказывать дней 30—40. Вот эти 15—30 дней, когда спортсмен еще стимулируется допингом, но анализы отрицательны, называются «окном». И фокус как раз состоит в том, чтобы соревнования пришлось на «окно».

Но почему же тогда происходят скандалы, вроде фантастического взлета к мировому рекорду, олимпийскому золоту и невероятной славе канадца Джонсона и его стремительного шлепка вниз?

Атлеты знают, что чем ближе к соревнованиям подтянули свою «программу», тем больше шансов на успех. И рискуют, сужая «окно». И бывает, попадают, тем более что на больших соревнованиях чувствительность анализов растет.

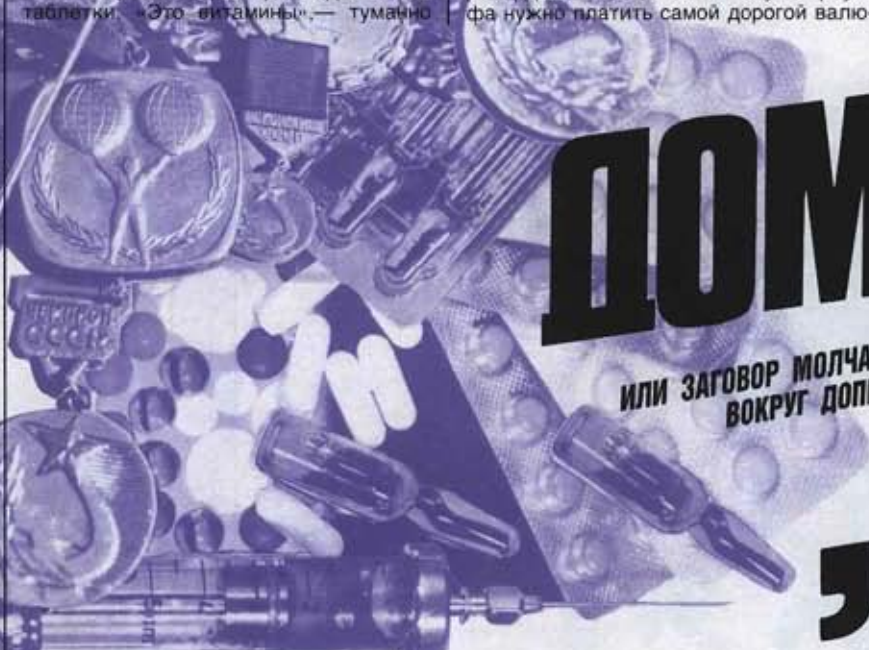
Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Во-первых, я вовсе не хочу утверждать, что все наши выдающиеся атлеты сидят на анаболиках. Я знаю, чего стоят те метры, минуты и секунды, те килограммы, которыми измеряются рекорды. Я знаю, что за минуты триумфа нужно платить самой дорогой валю-

отсутствует. Врачи говорят: травма. А на самом деле в Штутгарт позвонили из Москвы: анализ, сделанный перед самым вылетом, показал «плюс». Снова смирновская моча отправляется в воздух под величайшим секретом допинга: а вдруг уже чиста? Увы, Москва кодом подтверждает «плюс», и, сокрушенно качая головами, руководители делегации вздыхают: травма...

Хорошо выступает бегунья на 400 метров Пинегина. И надо же — опять травма! Из тех, о которых сами «травмированные» и не подозревают.

Олимпиада в Калгари. Утром в пробных прыжках наш лыжный двоеборец Аллар Леванди показал прекрасный результат. Радостно поднял руку его отец, тренеры сияли: все в порядке. А после первой попытки двоеборцу вдруг говорят: у тебя срочно заболел живот, понял?

Рези объяснялись просто: уезжали в Канаду за две недели до начала Олимпиады. Срок, казалось бы, достаточный для «просветления» мочи, но на всякий случай взяли с собой двух специалистов. Проверили, и — увы — у Леванди для спасения репутации должен был немедленно заболеть живот. Сняли



ДОМОРОЩЕННАЯ ОМЕРТА

ИЛИ ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ ВОКРУГ ДОПИНГА

объяснял он тем, кто спрашивал. Большинство предпочитало не спрашивать. Они знали, что это за «витамины» и что если откажешься — тут же вылетит из сборной... Теперь я почти инвалид... постоянные боли... Гормональная система разрушена, все здоровье/растроено... А ведь впереди жизнь, я бы хотела стать матерью.

— Вас удерживала от протеста только боязнь быть выкинутой из сборной?

— Все не так просто. Когда ты запрограммирован на победу любой ценой, шкала ценностей смещается. И поверьте, дело не только в жадности...

Это о медицинских последствиях. А спортивные результаты? Специалисты считают, что без анаболиков супертяжеловесы могут показать в толчке 220—225 килограммов, применение же анаболических стероидов позволяет поднять эту цифру до 265—270 килограммов.

Толкатели ядра ценою своего здоровья могут отодвинуть флажок на 1,5—2 метра.

Но ведь существует же антидопинговый контроль, скажете вы. Да, существует. Но, во-первых, у нас в стране его осуществляют как раз те, кто заинтересован в результатах. То есть контролируют те, кого самих нужно контролировать. Это то же самое, что бороть-

той — каждодневным изнурительным трудом, отказом от многих радостей жизни, причем именно тогда, когда ты полон сил, а жизнь так прекрасна...

Я преклоняюсь перед спортсменами, которые, сжав зубы, налагают на себя епитимью аскетизма, не на день, на два — на годы.

Я не считаю с завистью их заработки. Наоборот, платим мы нашим профессионалам безобразно мало, и сравнивать их доходы нужно с неизмеримо большими доходами западных спортсменов. Там знают, что за труд и успехи нужно платить, и высокими заработками гордятся. И если мы пока не можем тягаться, допустим, с гонорарами хоккеиста Уэйна Гретцки, который один зарабатывает больше, чем вся наша высшая и первая лиги, вместе взятые (это не преувеличение), то нужно хотя бы окружать спортсменов-подвижников заботой. А они у нас не за миллионами — за паршивой однокомнатной квартирой набегаются...

Во-вторых, пафос этой статьи направлен не против бедолаг, которые ставят на карту свое здоровье, а против тех, кто их к этому толкает.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Штутгарте в 1986 году. Советский толкатель ядра С. Смирнов утром еще выступает, в финале же неожиданно

с соревнований и остальных двух летающих лыжников, поскольку зачет шел по всем трем членам команды.

Трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина в 1984 году поехала на соревнования во Францию сразу же после турнира «Дружба» в Москве, на котором антидопинговый контроль не проводился. (Не потому ли, в частности, на нем были показаны такие высокие результаты?)

— Силь ву пле на контроль, мадемуазель Казанкин, — сказали ей.

А как идти? Она-то знала, что он покажет. Наши спортивные чиновники со свойственным им изощрением утверждали, что то ли «мадемуазель» просто не поняла, чего от нее хотят, то ли это происки империалистов. Что, впрочем, не помешало им Казанкину все-таки наказать, правда, уже дома, подальше от зловредных «империалистов».

Наши пятиборцы приезжают на чемпионат мира в июле 1986 года. А Старостин становится победителем в личных соревнованиях, но при допинговом контроле он и его товарищи «засвечиваются». Команда дисквалифицируется, а сам Старостин терит право участвовать в соревнованиях в течение тридцати шести месяцев, то есть вынужден пропустить Сеульскую Олимпиаду.

Конечно, опять ставится дымовая завеса, наводится тень на плетень. Но и тень, и плетень сугубо для внутреннего потребления, наш лишенный информации читатель все съест. На экспорт ни тень, ни плетень не проходят.

В 1987 году Международная Федерация тяжелой атлетики внезапно прислала к нам своих медиков для проверки штангистов на допинг. Всех спрятать вовремя не успели, и у кандидатов в сборную А. Акоева и В. Трегубова анализ показал в моче наличие стероидов.

Спортсменов уговорили написать, что принимали они допинг в порядке, так сказать, самодеятельности, а Госкомспорт создал комиссию во главе с заместителем председателя В. Громыко, которой поручено было выяснить все обстоятельства. Результаты расследования, как обещал «Советский спорт» 27 августа 1987 года, предполагалось опубликовать.

То ли расследовать было нечего — и так все ясно, то ли неудобно было расследовать то, что происходило в со-



яснял Сметанин на президиуме Федерации, когда сам Сметанин об этом и понятия не имел, поскольку отсутствовал в этот момент, равно как и Гуляев.

И опять это была липа чисто для внутреннего пользования, для одурачивания нас с вами, потому что ни один нормальный человек за рубежом весь этот вздор, достойный уровня оправданий первоклашки, всерьез не принимал, о чем, кстати, писали все газеты. Зарубежные, естественно.

Начало мая 1987 года. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Корреспондент «Советского спорта» передает из Кардиффа, что наш супертяжеловес Л. Тараненко прибыл туда в день выступления: «Стрелка часов уже миновала отметку 12 часов ночи. Не успел отдохнуть от нелегкой дороги...»

Теперь, надеюсь, уже не нужно объяснять, что за неотложные дела задерживали атлета до последней секунды...

Хорошо, скажете вы, то все старые примеры, в Сеуле-то ничего подобного не было. Извлекли, стало быть, урок, очистились от скверны.

Уроки действительно извлекли. На теплоходе «Михаил Шолохов», который стоял на причале в шестидесяти километрах от Сеула, было помещение, охранявшееся, наверное, строже, чем реактор на атомной подводной лодке. Но в нем был не атомный реактор, а лаборатория для анализов на допинг стоимостью в 2,5 миллиона долларов.

Бедному Л. Тараненко не пришлось сидеть дома до последней минутки, он мог приехать вместе со всеми. Но в соревнованиях, увы, участвовать не мог, лаборатория не пропустила. У болгар, к их величайшему сожалению, такой лаборатории не было...

Хорошо, допустим, вздохнете вы, но что же делать? Мы и без того уж слишком себя в грудь бьем, гул на весь мир, другие-то поумнее, все шито-крыто.

Нет, не шито и не крыто, потому что именно на Западе ведется борьба с допингом в спорте не на словах, а на деле, не пожеланиями и заклинаниями — любимым нашим оружием, — а законом. И ловить нарушителей поручается отнюдь не самим нарушителям, как у нас.

Предположим, бурная реакция канадских властей и общественности на Джонсона вынуждена. Попался-то, можно сказать, на глазах всего мира.

Но вовсе не на миру, а у себя дома канадская федерация тяжелой атлетики застала одного атлета в применении допинга. Его тут же пожизненно дисквалифицировали.

Американская пловчиха Мейерс завоевала перед Сеулом три золотые медали на чемпионате США на дистанции 100 метров вольным стилем и баттерфляем, имела лучшие результаты сезона в мире. Во время проверки у нее нашли следы стероидов. Сами нашли, не другие. Ее тут же дисквалифицировали и широко сообщили об этом на весь мир, волнуясь не за чистоту мундира, а за чистоту репутации своих спортсменов. Не наша, прямо скажем, практика...

факты, передергивают их, изобретают нужные.

— Уйдите, — наполовину приказывает, наполовину просит председатель Госкомспорта РСФСР В. Смирнов. — Вам же лучше будет...

А упрямый ветеран не уходит. Идет война...

Аркадий Воробьев и Юрий Власов не слишком жалуют друг друга, но это их личное дело. Нас же интересует другое. Юрий Власов — великий спортсмен и еще более великий правдолюбец. Из тех, на которых испокон веку держался мир.

Он воюет с допингом в спорте, с его антигуманностью, а спортивные чиновники отвечают ему столь свирепой ненавистью, что при одном упоминании его имени у них подскакивает давление и кровь приливает к лицу.

Он был председателем президиума Федерации тяжелой атлетики — съели, съели с торжествующим чавканьем, с победной ухмылкой людоедов. Сейчас Власов руководит Федерацией атлетической гимнастики, и снова ему перекрывают кислород. Могли бы — и воду перекрыли бы.

Да, для одних — он национальная гордость. Для других — враг номер один.

Что общего, скажем, между озером Байкал и применением анаболиков в спорте?

Кое-что есть. И в том, и в другом случае чиновник готов на все, лишь бы отчитаться перед вышестоящим начальством и быть им обласканным. Пусть целлюлозный комбинат загаживает уникальное озеро. Ему наплевать. Пусть калечатся люди для победных реляций о числе медалей. Наплевать. Подумаешь, чья-то печень с раковой опухолью или усы у девицы, не свои же...

Все это дети бюрократической системы, чиновные орлы, готовые на все ради лихого рапорта.

Да, мы завоевываем медали куда больше, чем, например, Швеция. Но если взять первых попавшихся сто наших школьников и сто шведских, кто из них окажется здоровее? Боюсь, что шведские, и с большим отрывом. Потому что в Швеции большой спорт не пожирает физкультуру, как у нас.

Вот если бы соревноваться на словах и лозунгах — о, здесь нам нет равных! А вот по числу кортов, бассейнов, стадионов, по количеству и качеству оборудования — здесь дело обстоит похуже. Для нас с вами. Потому что для тех, кто приносит медали для чиновников, денег не жалеют. Два с половиной миллиона долларов за лабораторию, чтобы снимать пробы с мочи чемпионов — пожалуйста. А теннисных мячиков купить — для этого нет валюты.

Что больше интересует спортивных чиновников: физическая культура где-нибудь в глубинке или олимпийские золотые медали? Куда, в какую командировку рвутся их души, в Чебоксары или в Мюнхен? За что можно вернуть получить звание и ордена, за розовощеких крепышей в детском саду в Тюмени или за рекорды мира?

Не будем больше обманывать себя — большой спорт и физкультура ничего общего не имеют, и содержать пожирающий миллионы, сотни миллионов большой спорт за счет физкультуры — безнравственно.

Закрывая глаза на проблему допинга — безнравственно и преступно. А проблема есть. Результаты закрытого анкетирования дали ошеломляющую цифру — 29 процентов. Именно столько спортсменов применяют запрещенные допинговые средства.

Да, медали прекрасны, но давайте подумаем сообща, что нам ценнее: лишняя несправедная медаль, оплаченная здоровьем, или честная борьба? Здоровье человека или насаждаемое и растлевающее души жульничество, все тот же старый двойной счет, давно опустылевшее блюдо застойных диет? Честь и достоинство нашей Родины или репутация страны, где широко гуляет анаболический монстр?

ЕННАЯ РТА

седних кабинетах, но прошло уже полтора года, а комиссия все выясняет...

Надо сказать, что наши спортсмены не только сами пользуются анаболиками. За соответствующую плату они готовы поделиться запрещенными препаратами и с зарубежными коллегами.

Осенью 1984 года канадские таможенники изъяли у наших штангистов А. Курловича и А. Писаренко большое количество анаболиков, которые они везли для продажи. Им не повезло: до этого попались канадские атлеты, возвращавшиеся из СССР, они признались, где и у кого купили стероиды. Таможенники знали, кого ждать...

Но медали, которые приносят нашей команде Курлович и Писаренко, нужны, как воздух, и их вскоре простили, сделав козлом отпущения тренера А. Прилепина.

Во время соревнований в Инсбруке наш конькобежец Гуляев передал знакомому из Норвегии стероиды, запрещенные к ввозу в страну. Боже, сколько дымовых шашек взорвали сразу наши спортивные деятели! Тут была и трогательная история, как эти таблетки были нужны больному, как бедный Гуляев и понятия не имел, что он передает, что просил его это сделать врач команды В. Сметанин, и грустно-обезоруживающее признание самого доктора: я, один я виноват.

Маленький штришок: все тот же «Советский спорт» писал, что именно объ-



Фото Владимира ЧЕЙШВИЛИ

Нина ТИХОНОВА

Современный молодежный жаргон я люблю за его образность. Например, словосочетание «отвязанные люди»... Сразу представляется осиновый кол, вокруг которого по безупречно четким орбитам мотается «привязанное» человечество. От незримых или осязаемых центростремительных сил даже на время рок-концерта «оттянуться» не всякий способен. А уж стать «отвязанным» на всю жизнь... Тут дело не в почине, а в умении.

В отличие от других представителей социально детерминированного советского рока, «Аукцион» ближе всех подходит к изначальной мысли рок-движения — начать раскрепощение

с личного, интимного самоощущения. Только не надо ханжески вздрагивать! По-моему, призыв «начать перестройку с себя» подразумевает как раз первый круг людских взаимоотношений, то есть то, что принято называть любовью и дружбой, на уровне элементарных «ближайших» связей, с подружкой, с женой, с приятелем. К этой сфере и обратился «Аукцион».

Руководитель, он же гитарист и автор музыки, Леонид Федоров начал создавать свой ансамбль вместе с бас-гитаристом Виктором Бондариком еще десять лет назад, учась в школе. В 1980-м, который считается годом создания коллектива, к ним при-

Аукцион

соединился клавишник и текстовик Дмитрий Озерский. Еще два года спустя для группы стал сочинять тексты Олег Гаркуша — яркий персонаж, колоритнейшая фигура «Аукциона».

Поначалу группа поддавалась по-прежнему тогда увлечению хард-

роком. Однако дебют 1983 года в Ленинградском рок-клубе окончательно подтвердил, что это направление неперспективно. До 1985-го об «Аукционе» не слышно. Тем временем в группе появляется свой художник Кирилл Миллер, который, подкрепляя новые искания музыкантов, разрабатывает грим, костю-

альбома под общим названием «Орган внутренних дел».

Потом пришли саксофонист Николай Рубанов, Павел Литвинов — перкуссия (самобытные ударные инструменты), гитарист Дмитрий Матковский (экс-«Мануфактура»). Недавно сменился барабанщик, теперь это Борис Шавейников.

Многие из ребят «Аукциона» сотрудничают с другими творческими коллективами. Литвинов выступает в группе «Джунгли». Матковский записывает сольные альбомы, а в 1987 году участвовал в Ленинградском рок-фестивале с приглашенными музыкантами, объединившимися под названием «Охота романтических их».

Гаркуша сотрудничает с «Поп-механикой» С. Курехина. И все артисты «Аукциона» до последнего времени формально артистами не являлись. Бондарик работал водителем автобуса, Федоров окончил Политехнический институт и был инженером-технологом, Гаркуша — киномеханик. Оно и понятно — ни у кого из ребят нет специального музыкального образования. Только перестройка взглядов на принципы профессионализма позволила музыкантам зафиксироваться в Василеостровском молодежном культурном центре.

Группу очень украсило недавнее пополнение — второй шоумен, выпускник отделения хореографии Института культуры Владимир Веселкин. В дополнение к Гаркуше он создает не иллюстративный, но метафорический пластический ряд программы, значительно расширяющий ее содержание. Веселкин блестяще импровизирует в неповторимой манере, тем более убедительной, что отлично владеет техникой классической хореографии, пантомимой и графикой восточных танцевальных приемов.

На пути формирования ансамбля были и потери. В частности, вокалиста С. Рогожина переманили из «Аукциона» в группу «Форум» на место перешедшего в «Электроклуб» В. Салтыкова. Недавно посмотрев выступление «Форума», не могу не посочувствовать певцу: у Рогожина, на мой взгляд, не такой яркий

которого, бесспорно, выразителен и богато интонирован.

Первая покорившая зрителей программа «Аукциона» называлась аналогично шлягеру итальянского певца-подростка Робертино Лорети — «Вернись в Сорренто». Сладкоголосая эстрада заливала уши, пока наши соотечественники эмигрировали «в сторону Нила». А те, кто оставался, жаждал местных «Рио-де-Шушары» — так был назван первый концертный альбом «Аукциона». (Шушары — пригород Ленинграда, где состоялось выступление). Он слабее последнего, сейчас группа явно на творческом взлете. Тексты песен «Аукциона» иногда грешат доморощенным галлетизмом, замешанном на поверхностных выдержках из модных философских теорий. Согласитесь, замечания типа «Деньги — это бумага» или «Нас просто нет... и в принципе, видимо, не было вообще никогда» — оригинальностью не блещут. Второй альбом — «В Багдаде все спокойно» музыканты вообще сочли шагом «в сторону», не свойственную творческим интересам группы. Тем не менее, то излишне прямолинейными, то окольными путями ребята постепенно приходят к стройной логике третьей программы, имеющей варианты и сценического шоу, и студийной записи. — «Так я стал предателем». После нее уже не требуется дотошно втолковывать, что «наша жизнь — тоже панковский сон».

Музыканты не идентичны своим песенным персонажам, но имидж ироничного рассказчика, «отвязанного» соучастника и наблюдателя жизни стараются сохранить всегда. Сегодняшняя «отвязка» молодых — это еще одна попытка разобраться в вечной проблеме: как прочертить границы нравственно дозволенного в потенциальной беспредельности свободы?

Может быть, вообще отказаться от ограничений? Уж слишком очевидно за нравоучительными внушениями проглядывает лицемерно-блудливая мещанская мораль самих проповедников. На фоне открытий нынешней публицистики не столь удивительными выглядят песенные персонажи «Аукциона». Среди них — уродливый порочный юнец, весьма убедительно объясняющий свою извращенность навязчивым вниманием женщин... Обычно причину падения нравов видят в пренебрежении духовными идеалами. А что поделаешь, если материальные ценности действительно очень заманчивы — мечты о них пародийно растекаются в песнях «Аукциона» сладким сиропом. Но разве можно всерьез руководствоваться совершенно абстрактными «идеалами», особенно из тех, что щедро пропагандирует та же эстрада? После ее посулов хочется, вслед за музыкантами, лишь шутейно затребовать все обещанное сразу и побыстрее:

*«Подари мне звезду, и не одну,
Мечту, и не одну,
Одну и не одну
весну,
Я хочу луну!»*

Впрочем, зачем же требовать? Загляните-ка себе в душу. Именно такой честностью поиска хоть чего-то, что стоило бы не предавать, и еще юношеской, вероятно наивной, но всегда вызывающей симпатию верой найти привлекательны для меня выступления «Аукциона». Группа не берет однозначно подытожить в песнях все проблемы, она выявляет эпицентры напряженности и убеждает — затронутые вопросы не ограничиваются подростковым возрастом. Они касаются всех нас. Ответа на них человечество ждет уже не первое тысячелетие.

Ждите ответа...



АУКЦИОН

смена '89

мы, элементы декораций — словом, разнообразное шоу, и, что самое интересное, делает для каждого выступления оригинальный импровизационный вариант. Миллер постоянно путешествует с «Аукционом», к тому же являясь самостоятельным студийным музыкантом, — он записал три магнитофонных соло-

имидж, чтобы единолично вытянуть на некий удобоваримый уровень посредственную «попсу».

Однако нет худа без добра. Уход Рогожина открыл вокальные данные самого руководителя «Аукциона» Федорова, голос

Анна АХМАТОВА

Пива светлого наварено,
 Не столе дымится гусь,
 Поминать царя да барина
 Станет праздничная Русь.
 Крепким словом, прибауткою
 За беседою хмельной.
 Тот — забористою шуткою,
 Этот — пьяною слезой.
 И несутся речи шумные
 От гульбы да от вина.
 Порешили люди умные:
 Наше дело — сторона.

1921. Рождество.
 Бежецк

Поглядишь — как будто спросишь,
 Отчего все это так.
 Ты недаром, милый, носишь
 Анненский темляк¹.

(1910-е годы)

Прокаженный молился...
 Брюсов

То, что я делаю, способен
 делать каждый.
 Я не тонул во льдах, не изнывал
 от жажды,
 И с горсткой храбрецов не брал
 финляндский дот,
 И в бурю не спасал какой-то пароход.
 Ложиться спать, вставать,
 съедать обед убогий
 И даже посидеть на камне у дороги,
 И даже, повстречав падучую звезду
 Иль серых облаков знакомую грядку,
 Им улыбнуться вдруг —
 поди куда как трудно.

— Тем более дивлюсь своей судьбине
 чудной
 И, привыкая к ней, привыкнуть
 не могу
 Как к неотступному и зоркому врагу.
 Затем, что из двухсот советских
 миллионов,
 Живущих в благодати отеческих
 законов,
 Найдется ль кто-нибудь,
 кто свой горчайший час
 На мой бы променял —
 я спрашиваю вас,
 И не откинул бы с улыбкою сердитой
 Мое прозвание как корень
 ядовитый?

О Господи! Возри на легкий
 подинок мой
 И с миром отпусти свершившего
 домой.
 Январь 1941.
 Фонтанный дом

Все, — кого и не звали, — в Италии,
 Шлют домашним сердечный привет.
 Я осталась в моем зазеркалии,
 Где ни света, ни воздуха нет.
 Где за красными занавесками
 Все навек повернулось вверх дном.
 Так не буду с леонардесками²
 Переглядываться тайком,
 И дышать тишиною запретною
 Никогда мной не виданных мест,
 И мешаться с толпою несметною
 Крутолобых Христовых невест.

Москва
 26 сентября 1957 — 7 февраля 1958.
 Окончено 16 апреля 1963

¹ Темляк — тесьма с кистью на шлэге, сабле. Имеется в виду орден св. Анны четвертой степени, выдававшийся в том числе за военные подвиги.

² Леонардески — здесь женщины, как бы сошедшие с портретов Леонардо да Винчи.



Эти стихи Ахматовой ранее в нашей стране не печатались, кроме стихотворения «То, что я делаю, способен делать каждый...», но и оно печаталось не полностью.

Открывает публикацию стихотворение, написанное Ахматовой в Бежецке, уездном городке Тверской губернии неподалеку от воспитанного ею в «Белой став» Гумилевского именина Слепнево. В Бежецк она ездила на Рождество 1921 года (по старому стилю) навестить сына Льва, жившего с бабушкой — матерью Н. С. Гумилева. Провинциальной рождественской идиллии из другого, тогда же написанного стихотворения «Бежецк» (включенного Ахматовой во второе издание книги Алпо Домини со строфой, в дальнейшем не перепечатывавшейся, —

Там выюги сухие азлазлат
 с заречных полей,
 И люди, как ангелы,
 Божьему празднику рады.
 Прибрали светлицу,
 зажгли у кивота лампы,
 И Книга благая лежит
 на дубовом столе), —

противостоит картина праздничной гульбы в послереволюционной глубинке. Оба стихотворения написаны спустя несколько месяцев после гибели Гумилева — в августе того же года он был расстрелян по обвинению в участии в таганцевском заговоре, с чем связаны строки из стихотворения, которые Ахматова записала специально для Н. И. Харджиева 26 декабря 1932 года и которые печатаются с его любезного согласия.

Четверостишие «За такую скоморошину...» известно в двух вариантах — в другом две последние строки читаются:

Мне о свинцовую горошину
 От того секретаря.

(Л. К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, т. II. Париж, 1980, с. 284). Тот же зловецкий персонаж, здесь как бы укороченный в мрачайших пластах российской истории, предстает и в стихотворении «Стансы».

Следующий далее набросок к «Поэме без героя» принадлежит к первоначальным слоям поэмы, которую Ахматова продолжала писать почти до конца жизни. Мы восстанавливаем его правильное чтение — ранее он печатался с порепутанным порядком строк, нарушавшим рисунок знаменитой строфы, о которой Ахматова, задолго до постановления 1946 года, ныне отмененного (как будто можно просто взять и отменить то, что было), писала:

Теперь меня позабудут,
 И книги сгинут в шкафу.
 Ахматовской звать не будут
 Ни улицу, ни строфу.

Стоит обратить внимание на то, что набросок этот помечен значимой в русской поэтической традиции и, в частности, в самой «Поэме без героя» датой — календем Крещенья, но романтическому мотиву являющегося в крещенском гаданье мертвого жениха противоостоит здесь мотив «мертвой невесты» — умершей накануне свадьбы с графом Н. П. Шереметовым его крепостной актрисы Парашы Жемчуговой (1768—1802). В бывшем Шереметевском дворце (Фонтанном доме) Ахматова прожила долгие годы.

Написанное немногим позже стихотворение «То, что я делаю, способен делать каждый...» было опубликовано в журнале «Литературная Грузия» М. Кральной с обесмысливающей ампутацией последних четырех двустиший. «Прозвание», отбрасываемое «как корень ядовитый», перекликается с темой следующего, непосредственно связанного с постановлением стихотворения «Это и не старо, и не ново...» — недаром в нем звучат имена Отрпелева и Пугачева, еще на памяти Ахматовой звучавшие в церковной анафеме.

«Все, — кого и не звали, — в Италии» — стихотворение, восходящее к вполне конкретным обстоятельствам поездки нескольких писателей в Италию. Оно печаталось в ранней редакции 1958 года, но пять лет спустя, в 1963 году, было совершенно переделано Ахматовой. Кэрролловский мотив Зазеркалья сочетается здесь с уже воспринятой акмеистами («Отравлен хлеб и воздух выпит», — писал Мандельштам в 1913 году о проданном в Египет Иосифе), а в этом стихотворении как бы зеркально обращенной дантовской образностью горького воздуха чужбины, изгнания, ада.

ИЗ НАБРОСКОВ
 К «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ»

Что бормочешь ты, полночь наша?
 Все равно умерла Параша,
 Молодая хозяйка дворца.
 Тянет ладном из всех окон,
 Срезан самый любимый локон,
 И темнеет овал лица.
 Не достроена галерея —
 Эта свадебная затея,
 Где опять под подсказку Борей
 Это все я для вас пишу...
 5 января 1941

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворенье.
 Ночь.
 Как крестный ход идут часы
 Страстной недали.
 Мне снится страшный сон.
 Неужто в самом деле
 Никто, никто, никто не может мне
 помочь?
 В Кремле на надо жить —
 Преображенец прав¹.
 Здесь зверства древнего еще кишат
 микробы:
 Бориса дикий страх, и всех Иванов
 злобы,
 И Самозванца спесь взамен
 народных прав.
 1940

Здесь девушки прекраснейшие спорят
 За честь достаться в жены палачам.
 Здесь праведных пытаются по ночам
 И голодом неутомимых морят.
 1924

За такую скоморошину,
 Откровенно говоря,
 Мне свинцовую горошину
 Ждать бы от секретаря.

(ОТРЫВОК
 ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ СТИХОВ)
 ...Оттого, что мы все пойдем
 По Таганцевке, по Есенинке
 Иль большим маяковским путем...
 1930—1932)

Это и не старо, и не ново,
 Ничего нет сказочного тут.
 Как Отрпелева и Пугачева,
 Так меня тринадцать лет клянут.
 Неуклонно, туло и жестоко,
 И неодолимо, как гранит,
 От Либавы до Владивостока
 Грозная анафема гремит.
 1959

¹ Т. е. Петр I, по имени села Преображенского под Москвой, откуда берет начало его деятельность.



Никогда не писала ни в одну редакцию: старенькая я уже, а сегодня была на кладбище у сына и мужа, сидела возле могил, грела их своими руками, спрашивала: «Согрела ли?» Молчат. Пришла домой в глубокой печали. Раскрыла «Смену», а со страницы смотрит на меня паренек такими добрыми глазами, что я поцеловала их. Это — поэт Анатолий Пшеничный. Прочитала его стихотворение «Два слова», и все встало перед глазами: вот я в очереди в военкомате — ходила просить, чтобы больному мужу хоть какой-нибудь значок дали. Всю Отечественную войну воевал, да еще польско-финскую прошел, и никто не вспомнил о нем в День Победы. Анатолий Пшеничный пишет точно про нас. Так взволновали меня его очень хорошие стихи, что всю ночь напролет я не могла заснуть.

В. И. НАЛОМА,
Горловка



17 июля 1918 года было принято постановление Совнаркома РСФСР «О постановке в Москве памятников великим людям». В дополнение к этому документу 30 июля того же года был опубликован «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и других городах РСФСР», подписанный Лениным. В нем шесть разделов. Революционные и общественные деятели. Писатели и поэты. Философы и ученые. Художники. Композиторы. Артисты. Большинство памятников из ленинского перечня, включавшего 66 имен, так и не было сооружено.

До сих пор не обрели своего скульптурного воплощения дорожке нам образы многих выдающихся творцов отечественного искусства. Мыслимы ли Псков без Мусоргского, Орел без Калининкова, Владимир без Танеева, Москва без Скрябина и Метнера, Ленинград без Шостаковича, Одесса без Ойстраха и Гилельса?

Прекрасно, что проводится конкурс на лучший памятник Чайковскому в Ленинграде. Но почему забыт Бородин,

почти вся жизнь которого прошла в Петербурге? Не говорю уже о Москве, где Танеев и Рахманинов, Прокофьев и Шостакович жили и творили многие годы.

Есть, правда, немало памятников-надгробий. Но правомерно ли такое ограничение для вечно живой музыки? Да только ли для музыки! Нет в Тамбове памятник Баратынскому, в Брянске — Тютчеву, в Ленинграде — Брюллову, Александру Иванову, Полену, в Омске — Врубелю. Нет памятников великим ваятелям — Антокольскому, Эрзе, Коненкову... А ведь имена Тютчева и Глеба Успенского, Мусоргского и Скрябина, Рублева, Кипренского, Александра Иванова, Врубеля назывались уже в ленинском «Списке...», удивившем в разгар гражданской войны и устремленном в будущее!

Пример глубокого уважения к памяти великих творцов музыки показывают нам наши зарубежные друзья — Польша, Венгрия, Чехословакия немалыми без скульптурных изваяний Шопена, Листа, Бартока, Кодая, Сметаны, Дворжака.

Сохранились дома, где жили и творили Булгаков, Платонов, Гроссман... Но если нет там даже мемориальных досок, то что же говорить о памятниках? Будущий Памятник Победы в Москве, мне кажется, не исключает необходимости создания индивидуальных памятников тем, кто с первого дня войны эту великую Победу завоевывал. Точно так же и Мемориальный комплекс жертвам сталинских репрессий вовсе не призван заслонить дорогих черт благородных рыцарей Октября, большевиков-ленинцев. Думается, что по сложившимся традициям памятники должны быть установлены прежде всего на родине этих людей.

Уверен, не нужно опасаться переизбытка памятников выдающимся творцам искусства. Остерегаться следует бездумного тиражирования стандартизируемых «монументов на постаментах».

И тут возникает совершенно прозаический вопрос: на какие средства должны сооружаться памятники? Конечно, союзными и республиканскими министерствами культуры сделано немало. Но ведь и возможности государственного бюджета отнюдь не безграничны. Есть, правда, опыт сооружения памятников на общественных началах. Именно таков прекрасный памятник ге-

роям Великой Отечественной в городе Ухте Коми АССР. Однако гораздо чаще сооружение памятника требует немалых средств. И я глубоко убежден, что памятники великим творцам искусства должны сооружаться в основном на средства от добровольных взносов. Вспомним, что на народные деньги был сооружен памятник Пушкину в Москве — одно из самых вдохновенных творений Александра Опекушина.

Пришло, наверно, время подумать об организации единого общественного фонда, обеспечивающего сооружение памятников выдающимся творцам литературы и искусства. Этот фонд занимался бы не только сбором пожертвований, но и решал бы вопросы целесообразности и очередности сооружения того или иного памятника, содействовал широкому и всестороннему обсуждению конкурсных проектов. Думаю, наши творческие союзы и Всесоюзное музыкальное общество, Советский фонд культуры и Академия художеств могли бы стать организаторами и учредителями этого фонда.

Владимир БЛОК,
композитор,
кандидат искусствоведения,
Москва



Уверена, что вы получили много откликов на статью «Дитя с нимбом». Подельюсь и я своими впечатлениями от пребывания в московском родильном доме № 70 в марте 1986 года.

Грубость на грани издевательства начинается в приемном отделении при раздевании и подготовке к родам. Некоторые врачи очень грубы при манипуляциях, осмотрах, при этом бесцеремонны в высказываниях.

Ночью, когда активность родовой деятельности самая высокая, в родовом отделении затишье, потому что многим роженицам вечером сделали укол снотворного: врачам так спокойнее.

Наутро выяснилось, что в 13.30 большая группа врачей отправляется на автобусе на экскурсию. И когда время подошло к 12 часам, мне стали делать стимулирующие уколы, так что в 13 часов я родила, и тут же принявшая у меня роды врач и другие врачи убежали на автобус. Это было в пятницу 7 марта, в канун праздника. Уже лежа в коридоре, я услышала голос одной из

акушерок: «Есть тут кто-нибудь трезвый?»

Последующие четыре дня я провела в специальной палате вместе с ребенком. Ради этого я, собственно, и пришла именно в этот роддом. И что же? Детский врач пришел только на четвертые сутки, в понедельник. 7 марта выдали суточный комплект пеленок для новорожденного, а 8 и 9 марта не дали ни одной чистой пеленки (прачечная была закрыта). Нянечки советовали «подстирывать», «подсушивать» пеленки. Через окно подняла на веревке пеленки, принесенные мужем из дома. Духота, жара в палатах. Давным-давно не мытая, с серым налетом раковина, над которой приходилось мыть ребенка. В подсобных помещениях кучи грязного белья. На кухне кишат тараканы.

Халаты, тапки, рубашки — рваные, старые, безобразные. По коридору полсероводородного отделения бродят, как старухи, женщины, скрюченные оттого, что одной рукой они поддерживают между ног пеленку: трусы запрещены. Через четыре дня после выписки из роддома я попала в больницу с послеродовой инфекцией матки.

Информация для матерей на стендах в коридоре во многом ошибочная, устаревшая.

И еще принципиальный вопрос: беспомощность женщины в роддоме, ее бесправность. Попадая туда, ты как бы перестаешь быть человеком. Тебе делают множество уколов, не сообщая каких. Оскорбляют, унижают, не обращая внимания на просьбы. Словом, обращаются, как со скотиной. У меня есть конкретное предложение.

Дополнить обменную карту (единственный медицинский документ, с которым женщина приходит в роддом и с которым покидает его) специальным отрывным талоном, в котором администрация роддома обязана указать номер бригады, принимавшей роды, фамилию ответственного врача. И предусмотреть место для записи женщиной — уже после выписки — ее впечатлений, предложений, жалоб. Этот отрывной талон должен быть дополнен врачом-педиатром из детской поликлиники и гинекологом из женской консультации, после чего должен быть отправлен гинекологом в организацию, контролирующую деятельность роддома.

Е. НИКУЛИНА,
Москва

«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

Внимание! Оцениваются все без исключения перечисленные исполнители! Наибольшая оценка 5 баллов.

вокальные данные (исполнительское мастерство)	артистичность (умение создать сценический образ)	репертуар	самобытность
Надежда Шестак			
Женя Белоусов			
Сергей Крылов			
Группа «Апрельский марш»			
Ольга Кормухина			
Ансамбль «Элада» — солистка Жужи Фиохарида			

2. Кого из перечисленных исполнителей вы хотели бы видеть в финале конкурса «50 на 50», который состоится в конце года?

4. Ваш возраст:

- 003 — до 20 лет
- 004 — от 21 до 25 лет
- 005 — от 26 до 30 лет
- 006 — от 31 до 40 лет
- 007 — от 41 до 50 лет
- 008 — старше 50 лет

А теперь несколько слов о себе (обведите соответствующие данные кружочком):

3. Ваш пол:
001 — мужчина
002 — женщина

Где вы живете?

Уважаемые читатели! В 1989 году журнал «Смена» совместно с Главной редакцией программ для молодежи ЦТ при помощи компьютерной техники Центра научно-технического творчества молодежи «Информ» решил провести социологическое исследование в области эстрадной современной музыки и разобраться, какая же музыка нужна нам сегодня.

Вниманию аудитории «Смена» предлагает эстрадно-сюжетную программу «50 на 50», которая с февраля будет выходить по 1-й программе Центрального телевидения под эгидой «Взгляда». В каждой передаче, а их планируется семь, принимает участие равное количество известных и начинающих эстрадных исполнителей. Выступления начинающих молодых артистов будут оцениваться по специально разработанной системе: пресс-жюри, зрителями концертного зала, где проходят съемки, телезрителями и радиослушателями.

Приглашаем принять участие в эстрадно-сюжетной программе «50 на 50» в качестве членов жюри и наших читателей.

Для этого необходимо на каждую передачу заполнять талон-отклик, который будет публиковаться регулярно на страницах «Смены». Общая оценка начинающего исполнителя — «рейтинг популярности» — будет выведена в конце года по результатам опроса пресс-жюри, зрителей в зале, телезрителей, радиослушателей и читателей журнала.

Почта, пришедшая на каждую передачу, будет разграна компьютером, и 50 (счастливых) талонов-откликов получат ценные призы спонсоров программы «50 на 50». Не забудьте указать обратный адрес на конверте.



«Игры в Лефортове-88»...
 Пустые залы на открытии и в финале нынешней декады... Брошенный пресс-бар, ломившийся в предыдущие годы от желающих посетить камерное помещение этого «клуба по интересам»...

Но не все, конечно, так уж плохо...

В остальные дни зал заполнен до отказа; зрительские обсуждения проходят еще темпераментно и страстно; постоянная аудитория, сформированная «Играми», как всегда, здесь...

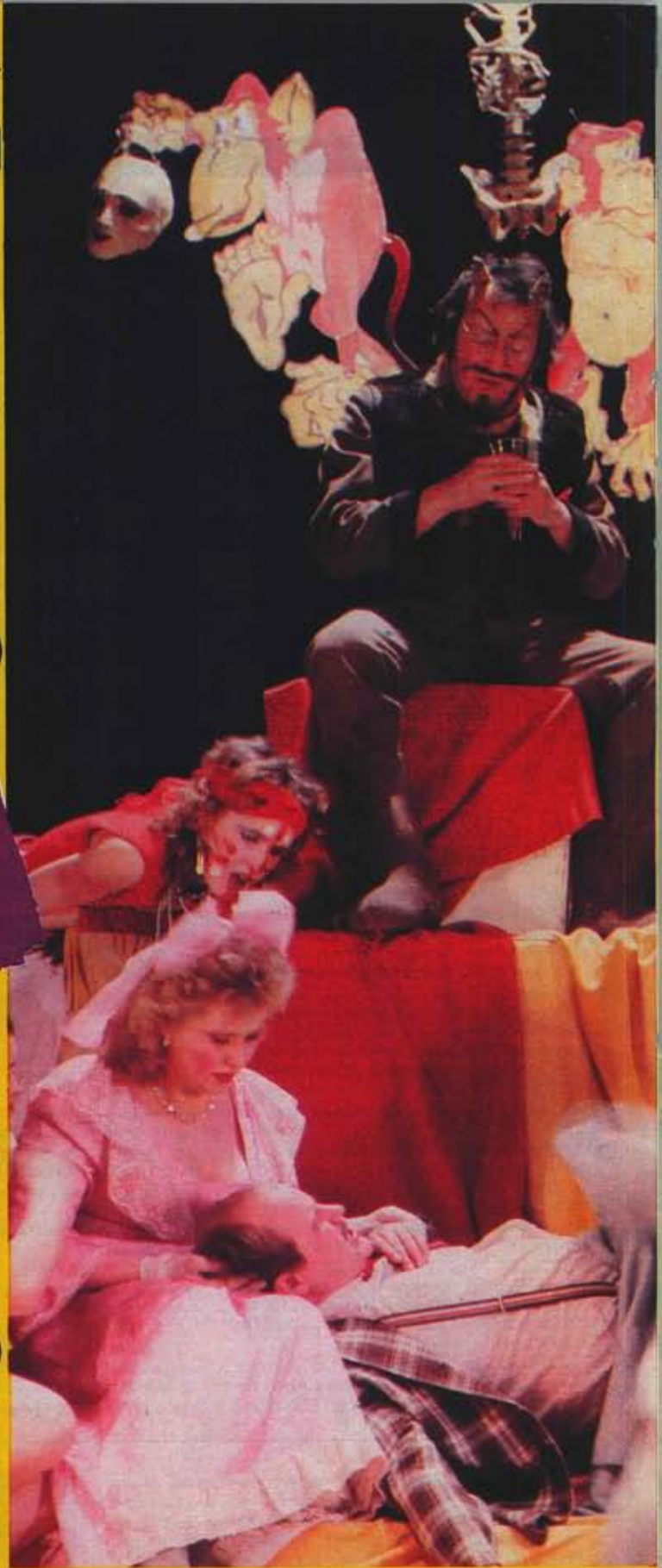
Точка зрения о перевесе плохих спектаклей над талантливыми неверна. Тем не менее она существует, и... небеспричинно.

«Игры в Лефортове-86» собрали любителей после двадцатилетнего перерыва — последний смотр студий состоялся до этого в 1966 году. Вне фестивалей, конкурсов, в полуподвальных и чердачных помещениях, в бесконечных кочевьях протекала жизнь энтузиастов. Все собравшиеся за эти годы силы, за исключением разве что театра-студии на Юго-Западе да театра-студии На досках, уже отвовавших свое место под солнцем, были брошены на «Игры-86». Студия-театр Алексея Левинского, театр-студия Человек, студия пластической импровизации Олега Киселева, народные театры-студии у Никитских ворот М. Розовского и на улице Чехова М. Щеленко, театр-студия Р. Виктюка... Из простого перечисления следует: перед нами «киты» любительского театра 60—70-х годов и очень громкие имена начала 80-х.

Условия отбора на «Игры-87» изменены: в них не могут участвовать победители прошлой декады и студии, вошедшие в Агентство любительских театров. Ставка сделана на молодые, неизвестные силы. Новые правила игры сработали: на свет божий или, точнее, на свет средств массовой информации были «предъявлены» студии Елены Озерцовой, «Мастерская» Б. Рабея, эксперимен-

Марина ТИМАШЕВА

СЛОВО ЭТОГО ДНЯ



тальная лаборатория ТЕМБР Н. Косенковой, Бенефис А. Неровной, Театр Забытой пьесы А. Демидова, театр-студия песни «Третье направление» О. Кудряшова, театр исторического факультета МГУ А. Стремовского, театр-студия Группы граждан С. Курбского — А. Любимова. Имен из тех, что на слуху, раз-два и обчелся, а общий уровень зрелища весьма высок.

«Игры-88» — снова эксперимент. Любой коллектив может подать заявку на участие. Никаких табу, запретов, «сословного» неравенства. И... тут-то и выясняется, что в 1988 году «Игры в Лефортове» нужны студиям меньше, чем сами студии «Играм в Лефортове». Ситуация по сравнению с 1986 годом принципиально иная. Тогда это была едва ли не единственная возможность себя показать и людей посмотреть, пообщаться со своими коллегами, поспорить за «круглым столом», поделиться наболевшими проблемами, завоевать награды и получить прессу, встретиться на свободном обсуждении со зрителями, выйти на большую сцену и, кто знает (чуть не написала «на большую дорогу»), получить путевку в «сладкую жизнь».

В 1988 году фестивали, смотры, конкурсы проводятся сплошь и рядом: Москва, Ленинград, Каунас,

Минск... Легче назвать, где их не было. Пресса, теле- и радиопередачи. Студии нарасхват. Они спешат из одного города в другой, из огня да в полымя, с корабля на бал. Многие отбывают на Запад. Ненадолго возвращаются: Эдинбург, Венесуэла, ФРГ, Австрия... Остановиться бы, передохнуть, вернуться к творчеству от бесконечных изнурительных поездок. Нет... «Из Вологды в Керчь. Из Керчи в Вологду».

1986 год. Спор о том, кто такие любители и профессионалы. Слушали — постановили: нет разницы между теми и другими, есть различия между талантливим и бездарным, между любительством вынужденным и добровольным. Постановление, правда, никем не утверждено. Экономические проблемы беспокоят всех куда больше, чем творческие. Оно и понятно: помещений для репетиций нет, а если есть — все зависит от хозяина — барина, и потолки текут, и спектакли показывать негде. Актеры — вынужденные дворники и сторожа, чем и спасаются от высылки за тунеядство в места не столь отдаленные. Некоторые действительно работают: в театр приходят после восьмичасового рабочего дня.

«А у Беляковича, слышали, актеры по 400 рублей получают...»



Фото Евгения СТЕЦКО



Лефортовские будни. Сцены из спектаклей «Глюки» Студии импровизации О. Киселева, «Багровый остров» М. Булгакова театра-студии на Филлах, «Кто, если не ты?» «Межсезонье» театра-студии МГУ. Руководитель студии Е. Р. Симонов и исполнительница одной из ролей в спектакле «Самоубийца» Н. Эрдыма.

Эти сладкие слова — «хозрасчет», «самоокупаемость» — оккупировали «театральное сознание» не так давно.

1988 год. Вот теперь уже точно не разберешь, где любители, где профессионалы. Бумажкам с печатью «официально разрешено» не верить. Раньше хоть формально было ясно,

кого звать на «Игры в Лефортове». Теперь путаница и неразбериха. Приглашаем всех, в ком еще теплится дух единомыслия, доверия друг к другу, любовь к игре и экспериментаторству. Всех, кто считает себя студией не в уничижительном, но в высоком значении этого слова. «Игры в Лефортове» не коммерческое предприятие, и воспринимать их таким образом не следует.

Самая серьезная проблема сегодняшних «Игр» присуща и другим жанрам отечественного искусства.

Снимаем с полок неизданные и чудом не сгоревшие рукописи, монтируем заново и запускаем в прокат перекороченные, изувеченные фильмы, открываем выставки художников-изгоев, печатаем поэтов-авангардистов. Пожалуй, театр в наиболее мучительном положении, ибо его нельзя «отложить». Проблема выдержанного вина для театра актуальна разве что в прямом смысле, в переносном же ни актеры, ни режиссеры не выдерживают. Публикуемые стенограммы репетиций запрещенных некогда спектаклей все же не спектакль и рождают глухую тоску да щемящую боль.

Тем не менее первые «Игры» сняли с «полок» всех тех людей, которые героически «вылежали» и выстояли. Вторая декада показала те силы, которые ринулись в бой на гребне новой оттепели. На третьей все наиболее интересные спектакли принадлежат режиссерам, давно зарекомендовавшим себя в театральной среде: снова О. Киселев и А. Левинский. А Мирзаян и Ю. Погребничко, В. Мирзоев и А. Пономарев. Вот, наверное, и причина гаснущего интереса к декаде в Лефортове.

На нынешних «Играх» многие студии «выезжали» на репертуаре: недаром с аншлагами проходят спектакли «Багровый остров» М. Булгакова в театре-студии на Филах, «Кто, если не ты» и «Самоубийца» Н. Эрдмана в театре-студии под руководством Е. Симонова. Немоден У. Шекспир, непопулярен А. Вампилов, все зрительские силы брошены на «запретный плод». Тяга к информации, а не к художественности проявляется специфическим образом.

На «круглом столе» выясняется, что сильно меняются и «болевы точки». Никто не хочет говорить о проблемах экономических, хотя подавляющее большинство проблем решено лишь на бумаге: и помещений нет, и потолки текут — все как в старые «добрые» времена. Разве что за актерское туневядство больше не высылают.

Интересны выступления участников «круглого стола».

Борис Тух, эстонский театровед: «Переход на хозрасчет останавливает творческую эволюцию. Это тот же путь, что от любви к панели. Из чего раньше складывалось ощущение от театра? Из азарта избранной публики и азарта коллективного нарушения законов. (Скажем, в Театре на Таганке на первых порах они были слиты, потом остался только азарт нарушения законов.) И студиям в обществе растущего дефицита может быть уготована та же судьба».

Представитель театра-студии «Диалог» из Минска: «У нас цена на билеты — два рубля. Приезжаем в Киев, а нам говорят: — Да вы что! Меньше чем по пять рублей не годится. Иначе это плохой театр. Никто не пойдет».

Иными словами, создается имидж той или иной труппе. Цены на билеты начинают неуклонно расти (у тех же спекулянтов). В результате в театр приходит не тот зритель, на общении с которым строилось творчество Коллектива, а человек, сумевший выложить нужную сумму денег и достать билет. Контакт театра со зрителем нарушен.

А. Пономарев — руководитель группы «Чет-нечет» Творческих мастерских СТД РСФСР, чей спектакль «Николай Гоголь. Нос» отмечен призами оргкомитета и журнала «Театральная жизнь» за лучшее воплощение классики: «Театр — это польза бесполезного. Государство должно держать его как драго-

ценный камень от избытка, как роскошество. А какой избыток у нашего государства?»

Появилась новая реальная опасность: поглощение высокой культуры массовой. И это проявилось на «Играх».

Берем «Самоубийцу» Н. Эрдмана в исполнении студии под руководством Е. Симонова. Можно Эрдмана играть, как зловещую карикатуру на общество 20-х годов или же как предчувствие «глобального обострения классовых борьбы», как произведение вневременное, типа «Ревизора», «Шинели» Н. В. Гоголя. Нельзя только одно — развлекать Эрдманом скучающую публику. Ничего не имею против развлекательного искусства, двумя руками — за. Но почему для этого нужен «Самоубийца»? Неужели мало французских водевилей, на исполнении которых испокон веков специализировалось Щукинское училище, выпускники которого — студия Е. Симонова — разыгрывают перед нами водевилей из советской жизни 20-х годов, смачно разбавляя Эрдмана накладными бюстами, вставными самоценными музыкальными номерами, формальной лихостью?

Почему коллектив этот называется студией? Обучение они, судя по всему, уже закончили; такие спектакли можно ставить и исполнять в любом академическом театре, будь то Театр им. Евг. Вахтангова, Театр сатиры или Театр оперетты. Ни одного неожиданного хода, непривычного взгляда на действительность, ни одной искренней нотки. Перефразируя замечательного драматурга: «Если посмотреть на дамочку с марксистской точки зрения, то такая, право, гадость получится», можно сказать: если посмотреть на Эрдмана с точки зрения «развлекаловки», то такая пошлость получится.

...Театр-студия на Филах и Михаил Булгаков. Ситуация как будто иная: абсолютно самостоятельный коллектив, искренний в своем заблуждении и жесточайшем отсутствии какого бы то ни было мастерства. Суть та же: битком набитый зал смотрит на этот раз не водевилей, а произведение Булгакова в варианте агитбригады или Окон РОСТА. Имя обоем спектаклям — кич. Только теперь кичем служат не лебедушки, вышитые заботливой бабушкиной рукой, а Булгаков с Эрдманом, затейливо изукрашенные нашими режиссерами.

Еще один вариант — соц-рок-шоу студийного театра МГУ «Межсезонье». Какие модные термины вынесены в обозначение жанра! А что на деле: самым поверхностным образом понята социальность, то есть актуальность ряда тем, выраженная концертными номерами. Они сопровождаются комментариями типа: «У нас существуют песни антивоенного и военно-патриотического содержания. Мы решили объединить их в одно — антивоенно-патриотическое». В результате — ирония без боли, скепсис без сострадания — не соц, не рок, не шоу. Но очень модно! Студенческому театру МГУ присужден приз имени производственной пьесы на военно-патриотическую тему «Золотой совок», который авторы спектакля забыли получить в момент торжественного награждения.

Приз Агентства любительских театров получил другой (действительно другой!) музыкальный спектакль — «Серебряный век» театра-студии творческого объединения авторской песни «Первый круг». Это вечер нетрадиционного романа. И это спектакль. Русская история XX века через романсы, исполняемые А. Мирзаяном, В. Лупферовым, А. Смогулом, Н. Сосновской...

Пустое распахнутое темное пространство сцены. Где-то в глубине подобие маленькой квартирки с деревянной вешалкой, низеньким столиком да торшером, мягко струющим свет. Пространство России, ее истории — и интеллигентная, уютная старомосковская среда, в которой рождаются свои и исполняются чужие романсы.

Казанки, гимназистки, институтки, сестры милосердия, беспризорники, жу-

лики, зеки, инвалиды войны и уличная шпана... А еще Вертинский, Галич, Козин, Лещенко, Бродский. Все они — герои спектакля. Вот уж никакого соц-рок-шоу! Хотя подлинная рок-культура в нынешнем ее состоянии очень обязана традиции поэтов, которую «воскрешает» спектакль «Серебряный век». И неужели то — легкое и блестящее, как мишура, «соц» — нам важнее, чем «Рай сменился бытием», или «Карнавал обернулся унылым тряпьем», или «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недожающей рукой», или «Я помню тот Ванинский порт», или «Когда я вернусь»?

«Когда через злость человек вновь возвращается к добру, значит, пришла зрелость и время оглянуться назад, чтобы увидеть свой исток», — говорит А. Смогул. В этой фразе внутренний смысл спектакля.

«Николай Гоголь. Нос» — название постановки А. Пономарева.

«Нос» Гоголя прочитан режиссером через Набокова. Несобразный, но «собразный» мир абсурда и трагедии, фантазмагории и пошлости.

Зеркала — в них отражается сюжет, умножаются зрители и действующие лица. «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Хирургический стол, покрытый зеленым сукном, — славное место для анализа. А вот вступает голос из-под сукна: «Боже, что они делают со мною... Они сыплют на голову мне бумажки, называя это снегом... Звени, мой колокольчик, взвейтесь кони и несите меня прочь с этого света...» Это не лирическое отступление, а рваный, дробный, по-своему ритмичный звук сумасшествия Гоголя, безумного мира и его о нем впечатлений. Музыкальные фрагменты, извлекаемые из тарелки и пилы, заменяют нам колокольчик.

«Поднимается протяжно в белом саване мертвец» — Гоголь, автор и герой «Записок сумасшедшего», — черные круги копиркой выведены под глазами... и пошло-поехало, лихорадочно закрутилась карусель. Мечутся актеры, мгновенно меняются ролями. Шиллер оказывается жестяным дел мастером, а Гофман — сапожником, большим другом Шиллера. Луна делается в Гамбурге, а сухие кондитерские пирожки выпекаются прямо на наших глазах из сухого льда, опущенного в чашку горячего чая, — как они дымят! Нос же... А о носе ли, право, речь? Мир спектакля полон Набоковым: «черви-черти», «тщедушный инородец», «вихляющаяся ипостась нечистого», «дьявол из породы мелких чертей, которые чудятся русским пьянцам»...

«Возвратите мне мой нос...» Строгая судьба лишила вас носа, но уже никто не посмеет сказать, что вы остались с носом... Так, потеряв нос, вы уже и остались с носом», — нет, нет, это уже не Гоголь. Алексей Левинский читает разговор Ивана Карамазова с чертом. Удивительно интеллигентный, тонкий, раздумчивый спектакль. Очень ненавязчивый, решенный одними лишь актерскими голосами. Никаких современных аллюзий... Но вслушаемся в первую часть постановки — рассказ «Бобок». Мы подслушиваем беседы покойников на кладбище. Покойники спорят, выясняют, чей чин важнее, разбирают оставшиеся спорные при жизни вопросы, перемывают косточки (нет-нет, живым), развратничают. Мертвые не лгут, им нечего бояться или стыдиться, и оттого отчетлива «нравственная вонь, вонь души».

«Ныне юмор и хороший слог не принимаются. И ругательство заместо остроты». «Идеи нет. Так они на феноменах выезжают». Ничего актуального. Да переложите это, не говоря уж об обществе, хотя бы на Лефортовские игры — тоже ведь не только панорама студийного движения, но и модель общественных отношений со всеми его столкновениями, конфликтами, открытиями.

И «Записки одного лица» и «Николай Гоголь. Нос» открывают нам драматур-

гию русского языка, учат вниманию к слову. Они затягивают энергией мысли и музыки, свободных ассоциаций. Это свободный театр. Подлинно альтернативный, противостоящий привычному и коммерческому. Такой театр (равно как «Полуденный раздел» группы «Домино» Творческих мастерских) страшен и опасен для людей, воспитанных в тоталитарном сознании, ибо он освобождает мысль от трафаретов, ехидно играет привычными шаблонами, парадоксально опрокидывает и переосмысливает с детства внушенные образы и цитаты. Он учит человека думать свободно, раскрепощает его творческую энергию.

«Не театр-картина, а колдовской круг, ритуал, в который мы пытаемся погрузить зрителя» — под словами актера группы «Чет-нечет» Б. Репетура наверху подписались бы и Левинский. Подписали бы под ними и Олег Киселев. Студия импровизации играет «Глюки» — пластическую поэтическую композицию, словно вобравшую в себя все темы описанных выше спектаклей.

Вы видите глюки. Вас ведет под-сознание. А что в нем? Художник-гений, неприбранный быт, хозяйка гостиницы, в которой — если выпотрошить цветные набивающиеся ее ленты да посмотреть хорошенько — Прекрасная Дама... Муза — трещотка в учительских очках. Домовой в «Глюках» играет пугающими банками, иностранец — «вихляющаяся ипостась нечистого» в «Носе» — тоже ими баловался.

Театр абсурда, мир абсурда. Театр этого мира. Театр нашего бреда. Смейтесь над собой, если уже не можете плакать.

Фазиль Искандер писал, что можно научиться смеяться, только если дошел до края отчаяния, заглянул в бездну и вернулся назад. Лучшее средство от страха — это смех. В фольклоре, древних обрядах и ритуалах смех считался животворящим началом, противостоящим смерти. Смех — порождение новой жизни и прообраз творчества, стихийного, праздничного, свободного от за-претов. Изучая детские нелепицы, К. И. Чуковский говорил, что отступление от нормы не только помогает укрепиться в ее знании, но привлекает внимание к многочисленным возможностям бытия. Ребенок отличается от взрослого степенью свободы. Повысить степень свободы взрослого человека — вот на что, скорее всего неосознанно, направлены усилия наиболее одаренных и очень разных режиссеров.

В какой-то момент времени театр совершенно отгородился от молодого зрителя, потерял с ним контакт, отдал его во власть рок-культуры. Дело тут не только в том, что рок-культура первой нащупала все те ходы, по которым теперь идут театралы, но и в том, что только в ситуации рок-концерта зритель мог активно, творчески самовыражаться. Именно там он становился не потребителем, а сотворцом. И вот теперь, мне кажется, стало возможным говорить, что и театр нашел свой, особый способ привлечь зрителя к участию в игре. В театр нельзя вмешиваться так же свободно и непринужденно, как в концерт, иначе это будет уже другой жанр — хэппенинг, перформанс. Найдено нечто другое: не навязывать зрителю свое видение произведения и жизни, но предлагать интеллектуальную игру, оставляющую простор для свободных ассоциаций.

Именно на «Играх в Лефортове-88» я радостно осознала, что такой театр уже существует и воспитывает человека-творца. В этом отношении «Игры» отражают изменения, происходящие в обществе, как, впрочем, и те три модели, которые наметились в нашей жизни: привычная — традиционная, коммерческая и альтернативная. В этом столкновении, хочется верить, не будет победителей и жертв. Вернее, для различной аудитории победители будут разные. Дело каждого из нас — выбрать, к какой аудитории он захочет относиться.

Альберт ЛИХАНОВ

Родительская суббота

ЭЛЕГИЯ

Поющая моей дорогой бабушке Марии Васильевне, моей первой учительнице Аполлинарии Николаевне Тепляшиной и моему деду Ивану Петровичу Созонову.

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека
И все величие его.*

А. С. Пушкин

Вот я и снова пришел к вам...

Сегодня тут людно, аллеи полны народу, будто на гулянье, в стылом воздухе сплетаются возбужденные, подогретые выпивкой голоса, среди холмиков торчат кепки, платки и модные шляпки, разгорается смех.

Меня это тяготит; смех кажется неуместным, но я обрываю себя: в конце концов каждый поминает усопших так, как ему по нраву, и есть в народной традиции поверье, по которому чем веселее в этот день живые, тем приятнее и тоже веселее мертвым.

Родительская суббота. Если вычтешь тринадцать дней из сегодняшнего календаря — ах ты, да ведь теперь двадцать пятое октября, Дмитриевская суббота. Спроси-ка хоть одного, почему так называется, никто не скажет. «Поминают Дмитриев?» Пожмут плечами.

А ведь Дмитриевская родительская суббота — в честь Дмитрия Донского, в память Куликовской битвы. Поминование воинов, легших там, у Непрядвы.

Я вспоминаю не поле, чувство.

Страшно было сойти с дороги. Умом вроде знаешь, обычная земля, а сердце говорит: эта трава на крови, эти кусты на крови, а под ногой, во тьме, чей-то прах.

Жаворонок кувыркался в сиреновом небе, пел жизнь, ветер нагибал траву, шелестел кустами, мерцала вдалеке маковка церкви в память героев, а я думал, что, видно, есть какая-то особая правда, по которой имена защитников забылись не от великого их множества, а для того, чтобы слиться вместе, в одно имя, в одно понятие и одну силу. Ведь поле Куликово означает нам и поле, и необъятных размеров могилу, и дух объединения, решимости, героизма, веры в себя, наконец, победы.

Поле — это и место, и общее имя русских ратников.

Ах, как дорого стоит воля!

Чем дальше от нас решающие события, тем, кажется, тесней сходятся те, кто в них был. Безусые отроки, русобородые богатыри, ясноглазые мужи, битые седеной бояре в дорогих ярких тканях и крестьяне в холщовых рубахах, святые отцы с крестами под мышкой и мечами у пояса, облаченные в кольчуги и совсем не защищенные, налегке, с копыями да острыми калеными ножами за лапотными обмотками, — и женщины, что плачут и смеются за спиной, малые дети, глухие старики, все, кто был, без разбору, без верстовых помех и спешки времени, сходятся воедино, плечом к плечу, сходятся, забывая свои имена, в единую силу, в одну, без сословий, власть, лишь немногих ставя наособицу — Дмитрия, Пересвета, еще кого...

Чем дальше от нас минувшее, тем меньше имен, это так. Когда-нибудь и наше время отодвинется вдали не на одну сотню годовых шагов, и все мы тоже сойдемся тесней друг к другу, забыв споры и неприязнь, соединимся в море по имени Время, отличаясь, конечно же, от своих предков времен Куликова поля, но лишь одеждой, иным ходом мыслей, техническими приметами, но вовсе, совершенно не отличаясь ни любовью своей, ни радостью, ни слезами, ни стараниями, ни



душой. И наше море оставит на берегу лишь избранные имена — в том нет никакой печали.

Да, все сольется со временем...

Но пока еще можно успеть. Снова увидеть лица — добрые, родные.

Их уже нет. Они живы, пока живы мы.

Так помянем же тех, кто близок нам, не ушел, истаяв в памяти.

Помянем и чаркой, и словом, кто как может, согреем душу воспоминанием, сошьем из невыцветших лоскутков пестрый платок недавней жизни.

А есть ли в этом смысл?

Есть ли смысл в том, чтобы рассказать про целый кусок жизни, во всех подробностях, не освобождаясь от них, как обычно? Есть ли в этом смысл — написать все, как было и как есть, вспомнив все подряд и протокольно записав кусок того, что ты видел?

Точно взгляд в окно.

Ведь в нем — кусок жизни, обрамленный оконным переплетом. За окном идет жизнь, движутся люди, возникают секундные сценки.

Но если окну придать движение? Например, это окно поезда, идущего по городу. Или окно поезда, идущего по твоей жизни, по твоей памяти.

С чего начать?

Она похожа на обрезанный кусок мешковины, наша жизнь. Можно потянуть за любую нить, это и будет начало. И ткань, выходит, сложена из многих начал. Что ж...

На этот раз я пришел с гвоздиками, простите. Какие-то официальные цветы. Весной я люблю сирень, а осенью флоксы, но их теперь нет, уже отцвели. Флоксы обладают сильным, чуть-чуть душноватым запахом, и кто-то из моей родни утверждает, что это запах кладбища. Такое утверждение кажется мне чудовищным, но вот теперь я пришел с гвоздиками — яркими, но без запаха и без чувства.

Цветы из города, возле нашего вятского кладбища их обычно не сыщешь.

Когда в городе произносятся слова Макарье, подразумевают не старинное заречное сельцо с красивой

стройной церковкой, где нынче, по обычаю, сельская библиотека, а именно кладбище — место успокоения для целого — и немало — города, и возле оживленной площадки перед кладбищенскими воротами днюет стайка старух, одетых в плюшевые жакеты, — они торгуют цветами, точнее, веночками из цветов, только не настоящих, жестяных и матерчатых, так что живые цветы сюда привозят из города.

Я видывал пристройные кладбища; в одном латышском сельце нас, писательскую делегацию, свозили на кладбище, как на экскурсию, — там возле ворот высился красивый, островерхий, с любовью построенный «Дом прощания», а на могилах стояли памятники, сделанные лучшими скульпторами, и последняя пристань вызвала уважение к живым, их осмысленности конца пути. Вятское же Макарье напоминало тупик невзрачной городской улочки, такой же серый, как и сама улица, не шибко прибранная, в скомканных клочках газет, огрызках булок, за которыми охотились вороны, в окурках, без должной месту тиши и почтения, с цыганками и невоздержанно громкой нетверезой речью поминующей родни.

С годами мой путь по кладбищу удлиняется: сперва тут лег дед, Иван Петрович Созонов, славный молчаливый старик, и никак, нет, никак не могу простить себе, что однажды, ставши уже вполне сознательным — и все-таки не вполне! — совершил я поступок — впрочем, и поступком-то это не назовешь! — совершил глупость, пусть и детскую, а все же бестактность, как бы украв у деда — но оказалось, у себя! — одну черточку, одну теплинку, какой уж никогда, нигде, ни за что не найду.

Как часто человек, становясь образованнее, а еще вернее, «культурнее», обкатаннее, гордится тем, чем гордиться не надо, стыдится того, чему надо радоваться, освобождает себя от знаний, каких не дадут никакие учебники. Истовость впадающего в раж грамотея совершенно равнозначна огульности воинствующего невежды. Впрочем, я был мальчишкой, ничем таким не страдал, а просто посмеялся над дедом — прости меня, дорогой!

Всякий раз, когда я переступал порог маленькой, но чудесно светлой, ясной какой-то комнатки на улице Большевиков, где жили дед с бабушкой, круглоголовый, всегда стриженный наголо коренастый старик подходил ко мне, крепко жал руку и говорил грубовато и приветливо:

— Здравствуй-здравствуй!

«Здравствуй-здравствуй!» Я привык к этим словам, но, подросши и начитавшись разных степенных книг, я, как это часто бывает в отрочестве, будто впервые услышал приветствие деда, и, оставшись наедине с бабушкой, спросил ее, улыбаясь:

— А чего это дедушка так забавно здоровается?

Бабушка моя любила меня безмерно, безоговорочно, непоколебимо, я был среди немалого числа ее внуков единственно любимым именно так, безоговорочно, для всех остальных у бабушки были оговорки. Потом, когда я стал старше и у нее появился правнук, да тоже уже не первый, она слабо объяснила свою любовь ко мне тем, что я был... послушным. Впрочем, вернемся назад, к моему мальчишеству и тому глупому вопросу, заданному любящей бабушке.

Она улыбнулась, вздохнула, кратко и как-то гордо мотнула головой, осуждая деда, и махнула рукой, а в следующий же раз, как я пришел к ним, дед пожал мне руку, хотел сказать что-то, верно, свое обычное приветствие, но только крикнул и проговорил пресное, такое пустое и неинтересное в его устах:

— Здравствуйте!

Бабушка мигнула мне с любовью, все с той же безоговорочной любовью, и мне стало страшно неловко из-за того, что как бы за спиной у деда я сделал ему замечание, непозволительное для моего возраста и совершенно не заслуженное дедушкой.

С тех пор, будто крепко обидевшись или крепко выучив урок пацана, дед ни разу не произнес своего теплого приветствия. А у меня, взрослого, не достало толку и душевного тепла — прижаться к нему однажды, обнять и сказать на ухо:

— Дедушка! Говори, как раньше!

Летит время, давно уже я вступил в пору, когда тоскуешь о вчерашнем дне, полной мерой сознавая его невозвратность, с недоумением вспоминаешь целую эпоху, когда ты погонял часы и годы, стремясь к целям хоть и важным, но уже достигнутым, а значит, потерянным, и, перебирая утраченное, вспоминая пропущенное — теплое слово, забытое внимание, ласковый поцелуй — среди глухой ночи или, напротив, в многолюдье, на шумном заседании, когда ты вдруг ощущаешь себя одиноким, точно в лесу, когда исчезает, тает шум, и взгляд твой утопает в тумане воспоминаний, в глаза натекают слезы, и ты слышишь:

— Здравствуй-здравствуй!

Куда бы ни мотался я по белу свету, чего бы ни видал, нет, ни за что я не найду больше тебя, дедушка, и твоих ласковых, добрых слов. Никто, никогда не скажет мне, встретив у порога:

— Здравствуй-здравствуй!

Его смерть ошеломила меня. Может быть, потому, что это была первая смерть, увиденная собственными глазами. Он встал утром, дело было зимой, стал надевать валенки и вдруг молча повалился, захрипел. Бабушка позвала соседей, его уложили в постель, и мама позвонила в Москву, это был инсульт. Когда я увидел его, едва узнал. Дед осунулся и похудел, щеки его провалились и обросли седой щетиной.

Эта щетина пугала меня. Все дни, пока он воевал со смертью, лежа высоко на подушках и громко, с трудом, дыша, щетина неумоимо, яростно отрастала. Слово все старания дедушки отвергались его телом, пропадали впустую, и лишь одна борода подчинялась ему, одна борода. Он лежал, закрыв глаза, закинув подбородок, и с каждым днем белая изморозь щетины делала лицо его все светлее. Будто его осеняла неведомая нам ясность.

Потом дыхание сделалось судорожным, точно ему не хватало воздуха. Дедушка задыхался рывками и все реже. И вдруг я не услышал больше хриплого вдоха. Стало тихо. Сначала заплакала мама, потом бабушка.

Странное дело, я встречал его!

Дед умер, его не стало, это было реальностью, но вдруг в московской толпе я видел его суконное пальто, коричневую кепку, знакомый седой затылок, я прибавлял шаг, догонял и понимал, что это совсем другой человек, другой старик, вот только спина и затылок совершенно дедовы.

Или вдруг я видел его на эскалаторе метро. Он стоял вполборота, задумавшийся, меня охватывал жар, но человек оборачивался — похожим оказывался только профиль.

Потом я узнавал дедову руку — одну только руку или его любимые сапоги с галошами — совсем на другом человеке.

Постепенно, со временем, это прошло, оставив во мне новую привычку — присматриваться к старикам. Я вглядывался в них с пристрастием и любовью. Теперь только изредка увижу я на незнакомом лице знакомую седую бровь или седые, такие похожие усики.

Время делает свое дело.

А может, я вглядываюсь в свое будущее, если оно, конечно, настанет?

Нет, это будущее не страшит; оно вызывает теплую грусть, словно время приближает меня к очень близкой, все понявшей, а оттого спокойной родне.

Где-то в этом будущем мой дед...

Он был партийный, проводы устроили в клубе овчинно-шубного завода и хоронили в гробу, обитом кушачом.

Меня поразило, как много пришло работников, как искренне плакали они, обступив красный гроб.

— Все его ученицы, — сказал мне секретарь парткома. — Петрович, почитай, ползавода выучил.

Этого секретаря я решительно не помню, время стерло из моего сознания его лицо, великодушно оставив лишь ощущение безграничного доброжелательства. Поначалу я решил, что это просто дань обстановке, но потом пришел к точному выводу: на меня распространялось отношение к деду. И не только этого человека. Когда мы взялись за гроб, чтобы вынести его из клуба, меня охватил озноб: я такого прежде не видел, не знал — нам кинулись помогать все эти женщины. И в этом порыве была какая-то своя правда, свой долг.

Гроб выплыл на мартовский морозец, солнце голубило дыхание человеческой толпы, автобус медленно тронулся от клуба, точно отодвигаясь от последней дедовой пристани.

И я вспомнил, как однажды, впопыхах, а вовсе не чинно, готовясь к торжеству с подходцем, заготовками, заранее, как делала она всегда, когда ждала гостей, бабушка пригласила нас к себе. Должен был приехать издалека важный человек, чтобы дать деду индивидуальный заказ; он уже был у них, когда мы пришли, — поразительно мягкий, интеллигентный полковник, военпред, хотя шубно-овчинный завод, где работал дедушка, был самым что ни на есть мирнохоньким старинным заводиком.

Ан нет, полковник без устали повторял, как Иван Петрович вырвал его заказ, в Казани, например, не смогли, а вот он, мой дедушка, сумел что-то такое сделать и как-то так необыкновенно, и оба они доволно поглядывали друг на дружку, и дед был возбужденно розовощек, и за столом, где всегда строго соблюдалось, кто где сидит, он занял не свой стул.

Закуска была, хорошо это помню, обыкновенно магазинская, без бабушкиного сказочного пирога, который ставила она по праздникам с ранехонька утра, пекла в русской печи на общей кухне, которую ведь еще и стопить надо не абы как, а умеючи, с мастерством и виртуозностью — рыбный пирог, да еще в бабушкином исполнении, терпеть не мог жара неровного, когда верх пригорают и портит хозяйке всю ее жизнь.

Бабушкин пирог был непревзойденным искусством, увы, ушедшим вместе с нею, и хоть вроде передала она секрет рыбного пирога с красной рыбой своей дочери, моей маме, но так, как выходило у бабушки, уже ни у кого не выходит, какие бы объяснения ни выдвигались: мол, все дело в печи, в жару — нет, не выходит.

Бабушка рыбку собирала заранее, берегла ее по многу месяцев в крепком, видать, засоле, перед праздником, к Октябрьским или Первомаю, начинала вымачивать, заводила с вечера тесто, а в день торжества вставала ни свет ни заря, распалая печь, прогревала ее бока, ублажала черную пасть, добивалась ее расположения и уж потом только, по одной ей ведомым приметам в какой-то приспевший миг ставила свой заповеданный противень.

Ах, какая была верхняя корочка у бабушкиного рыбного пирога! Даже, казалось, весь сыр-бор только из-за этой верхней корочки! В нее, эту корочку, да не местами, а по всему противню все хозяйкино мастерство и вся загадка вложена — во рту тает, а вкус не поддежит описанию: рыбным духом только опалена, какая-то нежнейшая горчинка, и вся масляная до такой степени, что походит уже скорее на что-то сверхкондитерское, чем на гастрономию высшего порядка, — и нет, слов все же недостает!

А рыба! Она упарилась до поту в тестяной шубе, разбухла в объеме, пропиталась духом и плотью окружающий ее рис, но все же имеет некую сухость и вес, ощущение серьезной и плотной еды, а не так, баловства какого-то.

Хотя верхняя корочка, несомненно, высшее в пироге, нижняя корочка тоже не последний пустяк. Она пышна, не подгорела и в то же время достаточно тверда, чтобы не пропустить ни сок, ни дух благословенной красной рыбы — горбуши ли, кеты или еще чего в том же высоком роде.

Но в тот раз пирога не было, значит, военный гость нагрязнул нечаянно, без упреждения, однако был он чем-то по-особенному приятственен деду, какая-то была меж ними своя военная тайна, но дед славился неразговорчивостью, и мы разошлись ни с чем — военный да военный, вот вам и все.

И только в шестьдесят первом, после полета Гагарина, дедушка признался. В Первомай, уже под пирог, приняв рюмочку, он в минуту, когда гость еще молчал и голоден, а оттого удобней всего говорить без помех, сказал чрезвычайно немногословно:

— Помните, полковник-то приходил. Ну так вот, Шил я им. Шил.

И надо было еще помозговать и позадавать дополнительные вопросы, чтобы понять: дед шил специальные утепленные костюмы для космонавтов.

Может, тренировочные, а может, полетные для самого Гагарина — этого он уж не знал.

Знал, что для них.

И еще одна извинительная как бы подробность. За столом сидела только наша семья. Если бы был хоть один посторонний, дед никогда бы не решился на такое признание.

И вот он лежит здесь, он первый, но вначале я иду к бабушке. Она пережила деда на четыре года.

Мне горько, я помню невыполненное обещание, да еще такое, как это. Бабушка попросила меня похоронить ее рядом с дедом. А я не смог выполнить этого: кладбищенские порядки самые последние и самые жесткие на этой земле. Усопших укладывают шпалерами, и здешняя земля похожа на казарменную спальню, где свободных мест рядом с дорогими людьми, увы, не планируют.

А рядом, через десяток могил, бабушка жены. Потом, через недолгий переход, ряд, где похоронен дедушка.

Да, мой путь по кладбищу становится все длиннее с годами.

Брат задержался у могилы деда, руками выдирает переросшие травянистые лохмы, а я иду дальше, к могиле давнего друга — как он любил похихотать, обожаемый всяческий юмор, мог развевать самое дурное настроение — и потом перехожу сюда.

Типовой бетонный памятник, цемент с мраморной крошкой, пожелтевшая фотография и ее имя: Аполлинария Николаевна Тепляшина. 1879—1976.

С осторожностью, будто это стенки хрупкого сосуда, прикасаюсь я мысленно к этим двум датам, одной, невидимой мне, неизвестной, даже непредставимой, к другой — близкой до обыденности, так что даже трудно вспомнить, чем знаменит для меня этот недавно пройденный год.

А вместе они, написанные через черточку, — стенки сосуда, но почему хрупкого? Напротив! Жизнь прожитая, она состоялась, и теперь этим стенкам не грозит уже ничто. Я перечитываю цифры. Поразительно! Она не дошла до своего столетия всего лишь трех годовых шагов.

Аполлинария Николаевна была моей учительницей. И так вышло, что я успел проститься с ней.

За два года. Да, за два года до ее исчезновения.

Это был трудный мой год. Что-то происходило во мне.

В самых неподходящих местах, среди разговора, в троллейбусе или прямо на ходу что-то вдруг случалось с сознанием — без щелчка, без всякого предупреждения тела — оно выключалось, на сколько, я не знал этого, наверное, на мгновение, но и этих мгновений было достаточно, чтобы погрузиться глубоко в холодную, без пределов, черноту. Я возвращался в реальность, точно выскакивал из жуткого омуты, нетвердо стоя на ногах, покачиваясь, теряя, а потом опять обретая землю под собой, и эти ныряния в ничто становились все повторяемей и чаще.

Краткие потери сознания сопровождалась непреходящей мучительной бессонницей.

Да, немало страданий придумано для человека — наверное, чтобы уравновесить радости; мне кажется, жизнь можно сравнить с игровой картой, где нарисована картинка — два валеа, зеркально глядящие друг на друга, две дамы, два короля; вся разница лишь в масти — на картах жизни черви и бубны обязательно умещаются на одной карте с пиками и трефами. Одна тут явная неточность: на картах, даже столь условных, красного и черного ровно по половине, а жизнь не гарантирует таких пропорций.

Одному выпадают обе половинки козырно-алыми, и жизнь его беспечна до гробовой доски. Другому уготовано черное... Впрочем, сам я решительно против предопределенности невезения, я за счастье и верю в лучшее, когда даже несложившаяся судьба полна прекрасных мгновений.

Скорей всего беды страшны своей вечной несправедливостью, желанием человека прожить жизнь без них, разрушенной верой такой возможности. И тут уж ничего не попишешь.

До самого последнего дня, уже попав в Первую градскую, к хирургу Савельеву, я надеялся на то, что, может, все обойдется, и даже тогда, когда как будто согласился с мыслью об операции, когда принимался шутить с друзьями — вот, дурачок! — дескать, жалко мне своего живота, видите, какой гладенький, а будет резаный, даже когда назначили день, я все еще надеялся, как малое дитя: а вдруг по-другому можно, терапевтически, без крови...

Хирург Савельев тогда был совсем молод для своей славы, не то ему только исполнилось пятьдесят, не то еще и пятидесяти не стукнуло. Мы общались с ним считанные мгновения; он пришел, как только меня положили, помня живот, спрашивая: «Тут болит? А тут?» — но у меня нигде не болело, и он ушел, мне показалось, недовольный мной, хмурый. Вообще он показался мне неприветливым и даже грубым. В мои представления о враче входила неременная разго-

ворчивость, участливость и уж непременно успокоение больного, если, конечно, ты больная.

Так что неприглядная неприветливость доктора меня обрадовала: раз не стал уговаривать, значит, ничего, жить еще можно. Откуда мне было знать, что субъективные ощущения хирурга могут не очень-то волновать, главное — результаты анализов. А их пока не было.

Тем временем по городу пошли слухи.

«Ах, злые языки!» Горько вспоминать, как выстрелы этих пистолетов достигли моей жены, пощадив только сына. Меня, как я понимаю, они достичь не могли, все-таки, видно, пока жива этика последнего шага.

Потом, позже, один приятель признался, что он боялся прийти ко мне, увидеть меня — что означал этот страх? Отсутствие силы? Любовь к собственной шкуре? Боязнь обреченного взгляда? Что ни назови, все непристойно.

Слухи настигли жену, хотя она и без слухов все понимала.

Милая ты моя, прости за все твои боли! Прости мой тяжкий характер, вздорность и нетерпение. Жена, утверждал я тогда, амортизатор мужской души. Жизнь несет тебя по кочкам и рытвинам, на работе скопка, глупые претензии к рукописи, и все волочешь домой, взваливаешь на амортизатор своей души, давай смгчай, принимай на себя удары и ушибы, которые получил я, не мне же одному все эти разнообразные несправедливости.

Мы ссорились часто, по всяким пустякам, это потом врачи объяснят мою раздражительность многомесячной бессонницей и тайным внутренним кровотечением, когда уходит гемоглобин, в ушах слышится звон и на ходу теряешь сознание, а тогда... Нет, я не хочу признать, что был не прав всегда лишь я, ты редко уступала, и в семейных сражениях не было победителей. Потом, оставшись одна в пустой маленькой квартире, когда засыпал сын и ты собирала завтрашнюю передачу, к тебе слеталось много скорбных мыслей.

Может, было не очень сладко и не всегда весело, но даже это лучше, чем ничто, чем пуста и одиночество. Не знаю, и никогда мне не узнать, думала ли ты о самом последнем и винила ли хоть в чем-то себя?

После того, как минули те месяцы, я прямо спросил тебя об этом. Ты посмотрела на меня открыто и ответила, что не имела права на это. Не имела права думать о том, что где-то там говорили знакомые.

Признаться, я не очень верю в это. Тяжкие мысли приходят без спросу, прилетают, точно воронье, не в одиночку, а стаей, и хоть одна, да все же пробьется. И нет у меня прав судить за это.

Хотя не верить тебе не могу, не имею права.

Я верил в ту пору тебе, одной тебе. Я ждал каждого твоего прихода, как не ждал ни разу за пятнадцать лет нашей общей жизни.

Чем ближе был день операции, чем неотвратимей становилась она, чем больше обследований записывалось на мой счет, тем уже становился мой мир. То, без чего жизнь еще месяц назад казалась бессмысленной, вдруг оказывалось маловажным, пустым, никчемным. Мнения почему-то значительных — почему? — людей, даже работа и, что страшной всего, собственные намерения — все отошло в туманные кулисы неправдоподобия, в нереальность, решительно неинтересную мне, в недавнюю, но историю, утратившую цвета, запахи и звуки. Прошлым летом, перед тем как попасть сюда, я с увлечением работал в Дубултах над новой повестью, но дело свое не закончил, и теперь, отсюда, из больницы палаты, оно казалось мне бессмысленно пустым, никчемным, не стоящим никакого интереса.

Все важное так недавно утратило смысл, зато вечерашняя как будто бы незначительность стала главным, занимающим меня с утра до вечера.

Например, твои шаги.

Твое улыбающееся лицо.

Твои, черт побери меня совсем, глаза, похожие на маслины. Твоя прическа. Твоя праздничная всегда одежда.

Лишь потом ты призналась мне, чего стоило тебе всякий раз быть нарядно одетой и празднично причесанной. Ведь в той, простой, обычной нашей жизни ты далеко не всегда одевалась так тщательно и нарядно. А сейчас, в дни беды, ты не могла себе позволить небрежности. Ты шла не просто в больницу, а на свидание со мной, как пятнадцать с половиной лет назад, и знала, что я жду этого свидания, даже не как влюбленный, а как ребенок.

Ребенок ждет гостинцев, ждет свою мать, ее тепло, ласку, доброе слово. В ту пору я мог обойтись без гостинцев, но не мог без ласки, тепла и утешающих слов.

Ты входила, подтянутая, на высоких каблуках, сияя улыбкой не только мне, но и моим соседям, ты всегда считала нужным ободрить людей, не очень знакомых тебе, но нуждающихся в добром взгляде и доброй улыбке, но прежде чем войти, ты легонько стучала в стеклянную дверь бокса, закрашенную белой краской, и у меня замирала душа, а перед тем все утро и весь вечер — ты приходила дважды в день и расслабилась только после операции — я вслушивался, — точно и в самом деле больной, только по другой части! — в шаги по коридору. Женщин на каблуках в отделении экстренной хирургии Первой градской

передвигалось немало, все больше студентки, женщины, облаченной в белый халат, белые брюки и марлевую маску, идут еще и белые туфли на высоком каблучке, в этом есть свой шик, но только для студентов — я не видел ни одной женщины-хирурга или операционной сестры на высоких каблуках, операция — не танцы, и все же каблучки в коридоре стучали каждую минуту, а я ждал других, твоих.

Чтобы заглушить дурные мысли, я избобрел свой способ временной анестезии — пачками читал детективы, но, несмотря на захватывающие сюжеты, слух не выключался, и мой слух был настроен на твои шаги.

Время от времени я обрывал сюжетную вязь, глядел на часы, и сердце мое наполнялось солнечной радостью предстоящей встречи. Потом я слышал стук именно твоих туфель, ты входила, улыбаясь, целовала меня, говорила добрые, приветливые слова, а я твердил сам себе: ведь вот оно, простое человеческое счастье, и оно у тебя есть в избытке, так отчего же ты не ценил, не видел, забыл его! Отчего вообще ты считал главным ничтожное или уж по крайней мере второстепенное, не заметив, прохлопав самое прекрасное?

И я давал себе зарок: жить по-новому, если все обойдется.

Ах, если бы мы оставались всегда верны собственным клятвам! Если бы помнили каждый миг, какие ценности настоящие, а какие мнимые! Увы, слаб человек, и едва отхлынет беда, как захлестнет жизнь, затянет в свои воронки, завертит неотложностью мелочей, ложной многозначительностью суеты, пустых пересудов, ничего не значащих мнений, которые имеют способность исчезать через срок, не указанный точно, но достаточный, чтобы осознать их никчемность...

Если все обойдется, давал я зарок, я стану внимательнее к тому, что кажется привычным и простым, ну хотя бы к природе, которая для меня теперь вот это хоть и большое, но все-таки всего лишь окно бывшего госпиталя хирурга Пирогова.

В окне синее небо и обещание весны сменялись хмарью, и прежде когда-то, совсем-совсем недавно, эта хмарь, эти низкие тяжелые облака, волглый снег где-то посерединке между зимой и весной, московская серость, когда безразлично обходишь грязные сугробы, утыканные окурками, вызывали лишь озноб и ломоту в висках, а теперь вот и недостатная эта хмарь была интересна, влекла, дарила надежды.

Вороны в скверике у больницы занимали меня своей житейской опытностью, деловитостью их умилляла и казалась замечательной: неужто это низшая тварь? Нет, никак нельзя согласиться!

Даже запотелость окна, тончайший водяной бисер на стекле, даже скрип тормозов за сквериком, на Ленинском проспекте, шелест шин и редкие, запрещенные нынче, звуки автомобильных гудков влекли свежестью и удивительной новизной.

Мир словно стронулся во мне и медленно двинулся вокруг оси.

То, что я не замечал прежде, стало вдруг важным и очень существенным для моего существования. Даже обычный звук. Обычный вид.

Свою ценность жизнь подчеркивала мелочами.

А то, что было важным, волновало, расстраивало, даже злило, теперь казалось смехотворным и глупым. Совсем незадолго перед тем меня предал товарищ.

Теперь, когда я как будто возвращен на старые рельсы, воспоминания об этом не кажутся мне такими уж безобидными. Предательство непросто в любые времена. Впрочем, нет ли нового именно в моем случае: предательство без всякой нужды, без потребности, предательство просто так. Бытовое предательство — назвал его я.

Когда все случилось, я страдал от обиды, как от жуткой боли. Еще бы!

Я всегда сочувствовал ему, этому человеку. Намного старше меня, в жизни он вел себя по-мальчишески, и слишком многие знали о том, как не сложилась его жизнь.

Когда-то женился, вскоре развелся, а ребенка своего у бывшей жены выкрал — вот и весь сказ. Решиться на такое — многие ли мужики смогут? Вот я, например? Нет, такое по плечу характеру очень сильному или странному. Он казался мне чудачком, да, впрочем, и был таким — неуравновешенным, экспансивным, способным вдруг зайти в крике, ну, а еще — каким-то заброшенным, одиноким. Его или боялись, предпочитали не связываться, или просто сторонились, считая «чайником».

Но он не был «чайником». Второй, замкнутой от многих взглядов половине его жизни требовалась компенсация: чье-то тепло, интерес, внимание к его судьбе, полной событий важных, даже драматических. Случилось так, что он увидел верстку моей первой московской книги, глаза загорелись: он ведь старше, а книга выходит у меня. Слово за слово, я обронил: сядь, мол, да пиши, пробуй, пока не поздно, для этого силы нужны, еще какие: Он взялся.

Каждый вечер приходил ко мне, я радовалась ему, как брату, и тянулись эти долгие останкинские вечера в разговорах о книгах, писателях, жизни, войне.

Мой друг воевал, об этом и писал, изводил пачки

бумаги, замахнулся сразу не на рассказец, а на большое, серьезное — то ли повесть, то ли роман.

Помню, однажды сильно заспорили о новой повести Трифонова — по-разному поняли финал, — чтобы выяснить истину, нашли номер его телефона, я набрал. Представился читателем, рассказал, что вот мы, мол, спорим с приятелем, разьясните, кто прав. Не помню уж, чье понимание подтвердил Трифонов, да и не в том дело, просто, мне казалось, хорошо и чистоговорили мы в те поры, судили о высоком, надеялись на удачу.

Потом приятелю как бы повезло, несмотря на возраст, он пробился на совещание молодых, попал в семинар крупного мастера, тот ободрил бывшего фронтовика, обещал поддержку, слово выполнил, у них возникли свои отношения, и тут я стал замечать, что приятель мой стал не говорить со мной, а как бы меня проверять. Так ли я говорю про то-то и то-то, что и его маститый учитель. Чаще выходило, что, даже не будучи знакомы, мы с его высоким покровителем и думаем, и говорим примерно одинаково, и я только пожимал плечами, когда завсегдатай моего дома сообщал мне об этом. Ну что ж. Но какое, в сущности, это имеет значение? И почему мы нынче говорим именно так?

Еще не поняв, я почувствовал перемены в моем друге. Я отошел на вторые роли, ну пусть, я не претендовал ни на какие роли вообще. Мне было жаль его когда-то, я хотел помочь и делал, что мог. Вот и все.

На этом история могла бы и завершиться — вполне благополучно, без каких бы то ни было осложнений. Мало ли случаев, когда чувства охладевают, но ведь остается же знакомство, если не дружба, так товарищество.

Но друг мой, втягиваясь в литературную суету, был чрезмерно внимателен к сплетням, и даже не сплетням, а мелким человеческим пакостям, когда кто-то бросает на ходу реплику, начиненную намеком, конечно же без имен, но все-таки, когда, ссылаясь на очень осведомленные источники, шепчут в ухо несусветную ересь, а то и заведомую ложь, когда не то что отраженный, но трижды отраженный звук выдается за слово совершенно иного значения; так вот, увлеченный препаратией всевозможных пакостей, на каком-то околословесном перекрестке подцепил он слухок о том, будто вроде бы я что-то такое сказал о нем.

Он явился ко мне в том виде, который отвергал от него большинство, — с выпученными глазами, растаятым ртом, предьявляя невнятные претензии. Тут же исчез, я дозвонился до него, кроме оскорбительных намеков, ничего не услышал, положил трубку и сказал себе: хорошо, пусть будет так.

Если подобранный где-то мусор способен затмить глаза на все прошлое — да и настоящее, — пусть будет так.

Как я страдал тогда! Как мучительно выкорчевывал в себе память о разговорах, о поиске истин, о том, где правда и какое зло — память о высоком мышлении, которое, оказалось, может уживаться с готовностью к клевете и легкому, без всякой нужды и основы, вот уж лучше слова не найти, бытовому предательству.

Ведь быт — это протирнуть рубашку, закурить сигарету, почистить ботинки, высморкаться.

Он предал, точно высморкался.

Перед тем, как перегореть, лампочка вспыхивает ярче. Так же бывает с чувствами. Я горел, было тошно, потом во мне все испепелилось.

Я угас и утих. Это произошло в больнице.

Однажды ты пришла и сказала, что звонил бывший друг, винился, страдал, объяснял, будто вышла ошибка, просился прийти в больницу.

Но я лежал с капельницей, на стойке висела бутылочка с бурой, устрашающей жидкостью, и во мне, таким образом, гуляла чужая кровь.

— Глянь-ка, — попросил я тебя, — фамилию донора.

Повернув голову, ведь бутылочка висела горлышком вниз, ты прочтала женскую фамилию.

— Спокойная женщина, — сказал я. — Уравновешенная.

— Почему? — улыбнулась ты.

— Потому что мне решительно наплевать на его звонок. Понимаешь? Решительно. И я говорю это совершенно искренне.

Мы с тобой пошутили насчет коктейля, который бродит в моих венах. Неизвестные мне доноры, мужчины и женщины, слились своими кровями в неизвестном им сосуде, во мне, и что из этого выйдет, известно одному богу.

— Все это спокойные, закаленные люди, — говорила ты.

— Почему?

— Потому что кое-кто стал спокойнее.

— Ну, это еще неизвестно. Надо подождать, чем кончится. Ведь главное переливание — во время экзекуции. Вольют кровь ревнивца, например, Отелло, я вернусь и задушу тебя.

— Зачем ждать? — смеялась ты. — Души сейчас. — И подставляла шею.

Твою шею совсем не трогало время — ни единой морщинки — достойные двадцатилетней девушки, я прикасался к ней рукой и украдкой от соседей целовал.

Мой бывший друг с его копейным предательством ни чуточки не волновал меня. Это было так бесконеч-

но далеко, что с трудом верилось в правдоподобие происшедшего.

Меня волновало такое простое — твоя близость, твоя молодая шея и глубокая, просто бездонная радость, что ты опять пришла ко мне.

Вот что подлинная ценность.

Меня обследовали, а потом готовили к операции два месяца. В тело влили добрый десяток флаконов крови, не говоря уж о всяких физрастворах. Поначалу я охал и отворачивался, когда сестры — да не всякая ловко, с первого раза — втыкали иглы в вену, потом привык к процедуре и спокойно глядел, как проливаются на салфетку первые капли то ли моей, то ли донорской крови из тонкого прозрачного шланга, соединенного с бутылочкой.

Надежды надеждами, а тело оказывалось как будто бóльшим реалистом и безропотно готовилось к операции, набирало сил — на этот раз чужих.

Природа не терпит пустоты и на потерю одного товарища подарила другого. Заведующий отделением, строгий, как сам Савельев, Вячеслав Алексеевич, оказался просто Славой, милым, добродушным и сердечным человеком. Однажды, в свободную минуту вечернего дежурства, он нарисовал мне схему будущей операции, объяснив, что такое резекция слепой кишки и шитье «бок в бок»: тонкая кишка пришивается прямо к толстой, при этом часть толстой тоже удаляется, сбоку ее зашивают.

Сунув бумажку в карман, я вышел в коридор, все еще изображая подобие улыбки, пошел по кафельному полу мимо реанимации. Возле двух этих дверей царил благоговейная тишина, все в отделении знали, что там люди выкарабкиваются обратно в мир божий, а раз каждому — или почти каждому — в экстренной хирургии светило оказаться там, высокие, старинных образцов двери впускали священный трепет. Однажды этот вход на Голгофу оказался открыт, сестра задержалась на пороге, что-то договаривая вовнутрь палаты, и я увидел странные приборы, светящиеся разноцветными лампочками, экраны осциллографов, по которым бежали, то вспыхивая, то угасая, яркие точки, и еще что-то непонятное непросвещенному уму, никелированное и черное. Я поспешно отвернулся и пошел восвояси, пытаюсь вычеркнуть из памяти увиденное, но не тут-то было. Мысли упрямо возвращались к реанимации, меня окатывал холод. Я понял, что это элементарный страх. Чтобы одолеть его, требовались осознанные поступки.

Детективотерапия помогала, и неплохо. Правда, были срывы, они выглядели так: ты читаешь, увлекшись, забываешь все на свете, уходишь в повествование, жадно ждешь, когда откроется, кто же преступник, но потом лишь на миг отрываешь взгляд от странички, и тебя прошибает холодный пот. Край больницы, стены, угол кровати, краешек матраца, простыни, одеяла возвращают тебя одновременно в столь неясную и столь очевидную перспективу.

Я решил привыкать. Читать стал в коридоре, увя, часто отвлекаясь, но зато вбирая в свое сознание вид хромоающих, едва бредущих больных, коляски, с которых свисают пустые брючины или обрубки ног в окровавленных бинтах, робких, не знающих куда идти посетителей, крикливых нянечек, которых ничуть не останавливает больничная святость: они кричат что-то друг дружке через весь коридор, с грохотом передвигают жестяные ведра, шлепают мокрой тряпкой, прикреплённой к палке, протирают полы; веселых, смешливых сестер, которые вдруг становятся деловито-торопливыми.

Потихоньку я понимал, что единственной утешительной педагогической больницы может быть привыкание. Я старался привыкнуть к этому необыкновенной ширины старому коридору, скопищу всевозможной зрительной и звуковой информации, где так ничемны слова и высокое философствование, к этой человеческой мясорубке, способной соединить в своем пространстве страдание и беспечность, боль и бесстыдство, смех и кровь. В сущности, коридор был моделью жизни во всей ее горечи и простоте.

И все-таки это был удивительный коридор! На стенах его висели картины. Надо же, тут были только жизнерадостные сюжеты: солнечные пейзажи с березками, группы нарядно одетых людей, молодые, розовощекие лица. И снова пейзажи.

У каждой рамы ярким пятнышком светилась никелированная табличка, где указывались имена художников и названия картин. В галерее этой царил разностилье, шедевров тут не было, хотя на многих табличках значились известные фамилии, впрочем, важно ли все это здесь, в больничном коридоре? Важным было иное, и оно присутствовало — настроение.

Доброе, светлое, хорошее настроение. Надежда. Если попытаться выключить восприятие всего остального и оставить лишь одно — взгляд на эти картины, можно прямо-таки купаться в прекрасных надеждах на лучшее, спокойно и радостно, точно в окна, выглядывать в багетные рамы, любясь здоровыми и бодрыми людьми и вечно счастливыми видами земли.

Я узнал, что все эти картины подарили больнице художники, которые здесь лечились. Они ушли отсюда, наверное, пережив все то, что переживал сейчас я, а потом, подумав, прислали или привезли полотна,

которые могли быть разными по содержанию, но непременно одинаковыми по настроению.

Точно незнакомые теперешним больным художники призывали нас к вере, что все обойдется и у нас, как однажды обошлось у них.

Я думал, мне вполне удалось привыкнуть к коловращению больничного коридора и приготовиться к операции, к высокой старинной двери в реанимацию, куда порой обычным, деловым шагом провозили каталку из операционной; порой же раздавался странный шум, врачи и сестры гнали каталку бегом, в руке у первого или второй, точно фонарик, в высоко поднятой руке сосуд с физиологическим раствором, колеса скрипели, все, кто был в коридоре, бросались к стенам, чтобы не мешать проезду, и я мгновенной вспышкой запечатлевал бледное лицо мужчины или женщины, старых и молодых, очертания обнаженного тела под одной-единственной простыней, резиновую трубочку, приклеенную к носу обыкновенным пластырем, кислородную подушку в руках бегущей напряженно-сосредоточенной сестры.

Дверь в реанимацию хлопала совершенно по-входному, точно она была на пружине, стреляла без всякой деликатности, и каталка с неизвестным или неизвестной въезжала в джунгли кардиологической, дыхательной и прочей аппаратуры, чтобы поглотить тишину чью-то боль и чье-то страдание.

Я старался уверить себя, что привык или скоро, совсем уже скоро привыкну и к этому, что делать, такова жизнь, во всей ее правде.

Но вот однажды вечером я прогуливался по коридору, не ускоряя шагов перед реанимацией, и взгляд мой упал на ширмочку в углу, за дверью, неподалеку от картины, изображавшей веселых, прекрасно настроенных людей в солнечном освещении на лоне цветущей летней природы. Сначала я не обратил внимания на эту ширмочку и ходил мимо нее, углубляясь в себя, внушая себе, что да, такова жизнь.

Потом что-то дернуло меня; совершенно праздно, из чистого любопытства я заглянул за ширмочку и отшатнулся. Прямо передо мной, на каталке, укрытый с головой, лежал человек. Край простыни сбился, и я увидел коченую ступню.

Нет, не удалось мне привыкнуть к больнице, стать своим среди стонов и болей, да ведь и противоестественно такое привыкание. К виду смерти привыкнуть нельзя даже профессионалу, например, врачу отделения экстренной хирургии.

После больницы, это понятно, у меня прибавилось приятелей среди медиков, и я, пройдя их руки, никак не мог — да и сейчас не могу — осмыслить меры их ответственности за жизнь человека, в нутро и даже в самое сердце которого они влезают со своими острыми инструментами. Я долго приставал к ним и особенно к одному из них, Пете, с которым потом мы стали соседями по дому.

Приходя в себя, перебирая прожитое, я все норовил выяснять, какие же чувства владеют человеком, которому дано право разрезать другого.

Есть ли хоть доля жалости, например? Ведь хирург изучает больного, часто успевает узнать его жизнь, его родных. Наконец, бывают варианты, когда оперирует друзей. Может ли дрогнуть рука? Как ведет себя врач, если знает, что дело на самом деле куда хуже, чем предполагает больной? Как, где и кто обязан говорить родным про самое тяжкое? Что испытывает врач? Это представляется тяжелой обязанностью? Болью? Вообще, применимо ли это слово к самому врачу или он способен облачиться в некий броневой панцирь, спасающий его от стога жены, от крика больного, его хриплого вдоха на последнем пороге?

Вообще, что за человек — врач, отваживающийся войти в другое тело? Ведь и тут возможен — но невозможен! — брак, ошибка, и, предположив, применив простую логику, можно догадаться, что всякий хирург смертен, то есть ошибается и даже, возможно, имеет право на некий процент профессиональных неудач.

Как же тут быть? Остальные молчат? Или есть, кроме клятвы, еще и суд Гиппократова? Или существует негласный корпоративный уговор, по которому врач-свидетели не замечают ошибки коллеги и не оценивают это словом «вина»?

Порой Петя кричал, можно подумать, я первый спрашивал его о таком, порой отвечал, мы расставались ни с чем, но потом он приходил ко мне снова и говорил:

— Я думал над нашим прошлым разговором. Так вот: во время операции жалости быть не должно. Только работа. Никаких чувств.

Или:

— Войти в чужое тело — это обязанность. Она диктуется не прихотью, а необходимостью. Поэтому здесь действует обыкновенная ответственность всякой профессиональной обязанности.

И еще:

— Говорить о, самом тяжком неизмеримо трудно. Мысль об этом преследует и мучает словно бессонница, но и тут возникает обязанность.

Петя — настоящий москвич, коренной, по рождению, интеллигент с долгой семейной родословной, мыслит логично и четко, ответы его я принимаю с доверием, но что-то между нами все-таки остается, какая-то взаимная недоговоренность, что ли, недопонимание. Не могу объяснить его, поэтому объясняю себе: что бы

он ни говорил, мера душевной — подчеркну это слово — ответственности мне не ясна. Ведь в нашей обычной жизни много волнений по поводу каких-то, в сущности, пустяков. Согласен, от этого зависит настроение, в конце концов человеческие отношения. Это важно. Но тут! От тебя зависит жизнь. Человеческая жизнь!

Врачи — интеллигентный народ, они читают книги, стихи, да что там — они люди, этим сказано все, — и им ясно, как и поэтам, что значит всякая судьба. Сколько в каждом из нас перекрестков, сколько узлов, которые связывают нити других, иных судеб, сколько детей и матерей не мыслят жизни своей без сына и отца, сколько других сердец способно оборваться, а то и вовсе умолкнуть от остановки одного-единственного сердца! Врачи — люди, они сами болеют и умирают, сами страдают и плачут, сами кричат, если больно, и все же скажите мне, какова мера уверенности и вашей силы, когда вскрыта кожа, разрезаны мышцы, убрана ненужная сукровица и вы беретесь за дело?

Увы, нет ответа. Нет.

Простите, если я лезу к вам слишком глубоко, люди, спасшие меня. Все дело в том, что в нашей грешной жизни много вопросов, на которые нет и не должно быть ответов.

Но безответность не убавляет вопросов. Они были. Они есть. И будут всегда.

И речь сейчас не о риторике, не о восклицательных знаках и красивых фразах, нет, не их ждет от вас мир.

Ждет и не дожидается. И в этом тоже своя правда.

Простите...

Не смешны ли со стороны мои метания? Я не удивлюсь, если кому-то они покажутся непременно такими. В конце концов у каждого есть право собственного понимания жизни. Но я не боюсь показаться смешным. Когда-то прежде, пожалуй, боялся, но ясность приходит с испытаниями, и то, что могло казаться смешным и чьего раньше стыдился, сегодня выглядит вполне обычным.

Потому что возникают новые истины. Раньше непонятые или непонятные, в результате определенных событий и обстоятельств они становятся главными, наполненными важным смыслом.

Больница, все, что видел я там, и все, к чему готовился, без всяких предувещаний заставляли возвращаться мыслями к пограничной полосе между жизнью и смертью, истине вечной и неизбежной для всякого и отвергаемой лишь только умом недалеким, глубоко эгоистичным, рациональным.

Что там, за этой чертой? Вечный страх и холод. Конечно же! Ну что еще?

И есть ли мостик через эту полосу? Существует ли — не материально, ясно же, а в душе — еще нечто такое, что должно связывать между собой жизнь и смерть, иначе бессмысленна сама жизнь, а смерть — постоянная, всепоглощающая — и с этим нужно смириться — и все попирающая — а вот против этого протестует, никак не может смириться душа — величина.

Вы знаете, обычная наша жизнь похожа на бег, кое-когда на гонки, порой у некоторых и на скачки, но больница и предстоящее физическое испытание для самых скакливых — всегда остановка.

Бег прерывается, все отступает, и прежде всего скорость жизни, человек возвращается, пожалуй, к самому естественному из данных ему природой состояний — он живет размеренно, в ритме дня, не убыстряя его часовой ход, и возникает новое: возможность подумать о себе, о своих близких, о своем прошлом и будущем, если оно достанется.

Есть время подумать о тех, кого нет, но кто был и жив в нашей памяти.

Может быть, это и есть тот самый спасительный мостик через пограничную полосу между жизнью и смертью, мостик, на котором вечно, даже когда мы не замечаем этого, дежурит бессонная наша память. Мы редко тревожим ее, когда живем бодро, когда бег наш по жизни ровен, а дыхание спокойно. Но вот ты споткнулся, вот ты остановился, вот ты ждешь испытания и вдруг вспоминаешь, что у тебя не только что-то есть в этой жизни, но еще что-то было и, может, это бывшее уже гораздо больше, чем то, что у тебя есть сегодня. И еще приходит такая мысль: как же ты жалок и беден, коли вспоминаешь редко тех, кого нет, но кто был у тебя. Как мелеет речка, по которой плывет твоя лодка, — от забвения, от непамяти.

И сколько богаче ты, мудрей и сильней, ежели память твоя свежа и ясна.

Полоса между жизнью и смертью непременно для всякого, но, может, она меньше страшит, если милые тебе люди живы в твоём сознании.

Ведь если живы они, не умерло твоё собственное прошлое. Горит яркими красками детство, звучит важными словами юность. И ты жив весь, всем своим, пусть небольшим, прошлым, а не только сегодняшним коротким днем.

Чем ближе был мой час, тем чаще вспоминал я деда и бабушку. Нет, я помнил их не в последний миг прощания, хотя и эти картины хранились в сознании, а живыми, веселыми, любящими.

В праздничный день, когда мы собирались на знаменитый бабушкин пирог, я, пока был маленьким, ждал

счастливые минуты. Она наступала, обязательно была всякий раз, стала привычной не только для меня, но и для взрослых, поэтому, когда я наведалься волшебного пирога, а взрослые еще продолжали свое пиршество, бабушка, поймав мой взгляд, приветливо светлея лицом, кивала мне и велела дедушке сделать свое дело.

Он поднимался, покрывал, похмыкивал, тоже улыбаясь, и подходил к буфету.

Мой прекрасный буфет!

Коричневый, потемневший, с прожилками, дерева, он высился, казалось мне, до самого потолка и состоял из двух этажей. Наверху, в двусторчатой его части, куда я не дотягивался даже со стула, хранились чайные принадлежности: сахар, конфеты, пряники, ну, конечно же, сам чай, но, главное, замечательные бабушкины чашечки, которые казались мне совершенно старинными. На чашечках и блюдечках — белых, с темно-красным, пожалуй, даже вишневого цвета ободком — были нарисованы презабавные картинки из неизвестной не только мне, но и взрослым жизни. Китаец с длинными усиками и, будто у женщины, косой сперва гулял с китайкой в красивом кимоно, и они держали в руках зонтики; на блюдечке он говорил все с той же красивой женщиной, и опять в руке у нее был странного вида, плоский зонтик, видно, от жары, а не от дождя, и мужчина обращался к красавице с невысокого, из серых камней балкончика неподалеку от красивого фонтана; затем действие опять перескакивало на чашечку, и тут уж китаец тащил на спине огромных размеров, но, видно, легкую, корзину с голубыми цветами, и в этих цветах сидела все та же красавица.

Так что, когда очередь доходила до чаепития, я получал двойное удовольствие, наливая горячий ароматный чай в блюдечко и разглядывая в разной последовательности китайскую пару среди необыкновенно больших и ярких цветов.

Бабушка обожала чай, рассказывала, что прежде за этим занятием люди проводили долгие вечера; утверждая свою любовь, она никогда не ставила при гостях постылый чайник, но непременно самовар, в пору давнего моего детства — всегда на углях, и мне наказывали, чтобы я не суетился, не хватал горячий чай, ждал, пока он остынет, можно обжечься, и приводились разнообразно ужасающие примеры. Но я и так был послушным и переливал чай из чашечки в блюдце, разглядывая сквозь медовую желтизну моих любимых китайцев в волшебной-цветочной стране.

Итак, двусторчатый верх, где хранилось все, имеющее отношение к долговому послетрапезному наслаждению, пах ароматнейшим чаем. А низ, где в одном отделении были макароны и прочие мучные запасы, а в другом хранился хлеб, пропитался благословенным его запахом.

Как изумительно ярко, как замечательно вкусно пахло в детстве хлебом и чаем! Грешным делом, я думаю, может, все дело в старом и добром буфете? В дереве, из которого он был сложен? И это дерево неизвестной мне породы умело намертво впитывать в себя благодатный чайный и хлебный дух?

Не знаю. Чувствую только, что старый бабушкин буфет любил меня, как хозяйка, — безоглядной, счастливой любовью.

Дедушка под повелевающим бабушкиным взглядом поднимался из-за стола, брал меня за руку, хотя этого вовсе не требовалось, подводил к буфету, отпускал меня, открывал нижнюю правую дверцу, доставал корзину с хлебом и еще что-то, и я влезал в свой любимый уголок.

Я говорил взрослым, что хочу поехать на машине, мне нужна кабинка, и никому на свете не придумать кабинки лучше этой, пахнущей хлебом; я забирался, вдыхал чудесный аромат, заводил двигатель и трещал языком, изображая крутые, очень крутые подъемы, по которым с невиданной скоростью неслась счастливая машина воображения.

Я приоткрывал дверцу, когда мне хотелось, и тогда солнце врывалось в мой уютный уголок, слепя глаза, я закрывал дверцу, и мне мерещилось, что я еду чернильно-темной ночью, мне доверили особое задание, и вокруг враги, поэтому надо ехать незаметно, негромко, и я гудел потише, будто может машина ездить потише, понезаметней, когда этого захочет шофер.

Вспоминая любимый буфет с его добрыми запахами, я спрашивал себя: вот тогда, в раннем детстве, еще до войны, когда молодым, верно, был и дедушка, и жена его, моя любимая бабуся, мог ли, представлял ли я себя не в роли водителя на неровной, ухабистой дороге, а например, летчиком, в розовом от заката небе или моряком, капитаном корабля, допустим, знаменитого крейсера, гордости и красоты отечества, картинку которого печатались в тогдашних газетах?

Летчиком представлял. Это было просто, потому что небо, и розовое от зари, и зеленое в тихий час сумерек, и беспечно голубое солнечным, нарядным днем, и даже укрытое шкурами мохнатых туч, находилось прямо надо мной — подними только голову. И я летал в старинном буфете, то включая, то выключая мотор, как делали летчики в маленьких четырехкрылых самолетах над заречным парком, то наклонял вправо и влево свои крылья, помогая им плечами, то вдруг задирал свой подбородок и вместе с ним нос боевой

машины вверх, рычал изо всех сил, форсируя двигатель, и переворачивался через спину, совершая знаменитую петлю Нестерова, соединенную с оборотом вокруг себя, то есть бочкой. Ясное дело, ни про какие петли и бочки я еще не знал, меня вела счастливо изобретательная детская фантазия, и легкое тело, жаждущее летать так, как взрослым и в ум не придет, — но это было, мой буфет летал виртуозно, обдавая меня любимым, ненадождающим хлебным духом.

Но вот море — это у меня не получалось. Я видел реку, знал нашу норовистую Вятку, но моря не видел никогда и не мог вообразить его себе, не мог представить и корабль, особенно такой непонятный, как крейсер. У фантазии ведь тоже свои правила: будто дрожжи квасу, хоть чуточку, но ей нужна реальность, увиденная лишь на мгновение, лишь одним взглядом, и не в черно-белом, застывшем виде, как на блеклой газетной фотографии, а наяву. Но море шумело где-то за многие тысячи верст, на другом краю земли, и вовсе не подозревало о моем существовании, а я не догадывался о нем и играл в летчика, потому что видел самолеты, был машинистом паровоза, потому что бывал с родителями на вокзале, но больше всего любил водить машину, непременно грузовик, потому что грузовик — машина с пользой, он перевозит важные вещи.

И я тархтел, жужжал, трещал, подвывал на подъемах своего детства, ни чуточки не снижая скорости.

Позже, когда я подрос, буфету, увы, пришлось измениться, и мне казалось, он, как и бабушка, когда я чего-нибудь натворю, смотрит на меня укоризненно, только вот не покачивает головой. Я чувствовал свою вину и испытывал перед ним угрызение совести, но все же поделал ничего не мог: теперь ведь я не умещался в его нижнее отделение. Как и бабушка, он заранее прощал меня, а я, вняв, любил его по-прежнему.

Очень часто, когда дед был на работе, а бабушка выходила в коридор или на кухню, я, уже отяготившись чувством полувзрослой стыдливости, на цыпочках подбегал к моему любимому буфету и, прижавшись к теплоте его тела, вдыхал счастливый запах хлеба и чая, запах радости и любви моих начальных лет.

У меня появился другой дружок. И мой добрый буфет совершенно не ревновал к нему. Я думаю, потому, что они и между собой были неразлучными друзьями, всю жизнь стояли бок о бок.

В буфет я не влезал, а машину водить хотелось, и вот однажды моя милая бабушка, положив теплую и мягкую руку мне на макушку, подвела меня к швейной машинке «Зингер» возле буфета. Чугунное тело машинки, ее крутые металлические бока излучали уверенность и твердость характера, какой может быть лишь у существа, хорошо знающего свое предназначение. Но машинка не только знала себе цену, она гордилась еще своей красотой, своим изяществом: окрашенная черной, бликующей на солнце краской, она была украшена золотым именем фирмы, и эти буквы висели на гладкой черной шее машинки, точно ожерелье нарядной красавицы.

Ну, а блестящее никелированное колесо, которое соединялось кожаным шнуром с другим, большим колесом, а педаль, которую требовалось крутить, чтобы машина шила, ну, а блестящая ножка, прижимавшая ткань к металлическому столику, а игла, вызывавшая легкую опаску, потому что она поднималась не воле человеческой руки, когда, скажем, бабушка штопает чулок, и может даже отвлекаться, глядеть в сторону или на тебя и тем не менее совершенно спокойно делать свое дело, — так вот, игла машины, подчиняясь, конечно же, человеку, все-таки принадлежала этому механизму, тут приходилось работать во все глаза, уметь обращаться не столько с иглой, сколько со всем этим «Зингером», у которого, по сравнению с ручной иглой, заводская точность и скорость.

Бабушка поколдовала у маленького никелированного колесика на машинке и повернулась ко мне:

— Ну, поезжай!

Я нажал на педаль, большое колесо внизу медленно крутанулось, но опасная игла не застрочила — зато все остальное работало — и я принялся, одолевая упругое сопротивление педали, разогнать мой новый автомобиль.

Украдкой поглядывая на буфет, выпрашивая втайне его прощение за свои предательские мысли, я думал, что хоть прежде у меня была почти настоящая кабинка, теперь-то есть почти настоящая машина. Пусть она не едет, но зато не надо жужжать голосом, колесо летит и гудит самым настоящим, машинным образом, не хватает только баранки, но это уж суший пустяк, когда внизу грохочет педаль и можно ускорить бег машинки, а можно и притормозить — тогда педаль от раскрученного маховика приятно раскачивает твои ноги — туда-сюда, туда-сюда — и требуется усилие, чтобы нехотя, постепенно она пошла помедленнее, потише.

Вещи переживают людей — а может, простая эта истина должна бы нас научить внимательнее относиться к вещам, с той лишь непременной особенностью, что ценность их не в стоимости, а в памяти?

Меня бабушкина чашечка с блюдцем, буфет и швейная машинка «Зингер», и еще старый дом в Вятке на улице Большевицкой, напротив рва к бывшему перевозу и Халтуринского сада, не зная об этом, заставляя

возвращаться снова и снова в любимый городок. Они стали памятью овеществленной, да и не стоит стыдиться того, что рядом со словом «память» возникает слово «вещь».

Когда я вижу чашечку и блюдце с китайцами, буфет, машинку, старый дом, во мне происходит мгновенная подвижка. Памятью движут не вещи, пусть важные для тебя, а мысль, но предметы материализуют память, ускоряют твоё возвращение к дорогим людям.

В один миг ты одолевашь гравитацию сиюминутности, чтобы проскочить годы и расстояния, снова встретившись со своим началом.

Да, вещи переживают людей, и если ты, видевший прожитое, сумеешь сохранить в сознании образы сломанного дома и утраченных вещей, что поможет воссоздать минувшее твоим потомкам? Обладающий создательной фантазией, но не видевший прошлого твой сын и внук, по одним лишь вещам способен воссоздать жизнь своих прабабок и прадедов. Но если нечему напомнить прошлое? Пустота, выжженная земля, ничейная территория.

Будем же беречь вещи — не во имя корыстного собирательства, но во имя родниковой чистоты памяти, живущей во времени и пространстве! Будем помнить: они нужны нам больше, чем мы им.

Вещи, при всей их ответной теплоте, равнодушно холодны без любви, без верности. Они способны легко менять хозяев, вспоминать о своей стоимости, исчезать, точно обиженные странники в людской толпе. Они способны — в один неожиданный миг! — вызывать безмерное душевное страдание сильным напоминанием — не о себе, о своих истинных хозяевах; они обладают счастливой силой рождать в человеке угрызение совести.

Забывшие, брошенные вещи, словно старики и старухи, спроваженные безжалостными детьми в богадельню без адреса, выгнанные на улицу остывшим, безжалостным разумом.

Как-то стало привычным, что к общему, государственному, человек относится с меньшим почтением, нежели к своему, собственному, и, скажем, изломает десяток казенных автомобилей, когда свой, однажды купленный на кровные, потом омытые денежки, бережет десятилетия. Но — вот дела! — несмотря на эту традицию, то ли от обильности, то ли от легкой доступности, теперь уже и свое-то рвется и ломается без всякой жалости, без печали, без мысли о том, как, кто и когда делал эту вещь. Грохнула хорошую чашку — что за жалость, к счастью, сломал велосипед — невелика беда, можно обойтись без пачки, новые под боком, стукнул по небрежности собственную машину, неприятно, хлопот не оберешься, да ладно, Госстрах поможет, а там и поменять можно.

Но кто таков человек, не дорожащий ни личным, ни общим? Прообраз будущего дана? Растение, корневая система которого развита в ущерб плодоносящим, соизидательным «вершкам»?

Меня до слез трагуют прорывающиеся сквозь газетную и телевизионную поденку краткие до скорби сообщения, похожие на происшествия на подверстку, на уровне чудачеств — что-де такой-то и такой-то все еще ездят на государственной полторке сорокалетней давности, бережет ее, холит, поражая воображение окружающих, а такой-то и там-то пятое десятилетие работает на фрезерном станочке, и хоть устарел этот агрегат, убрать его пора бы по соображениям целесообразности, а вот хозяин его ему верен, не бросает, на другой станок, более совершенный, не идет. Или вот незаметно промелькнула заметочка про человека, конюха деревенского, который на войну был мобилизован вместе с лошадьми своими, прошел по войне, до самого Берлина добрался и вернулся домой вместе все с теми же лошадьми, одну только, кажется, убило.

Неправдоподобно? Но верность дарует чудеса, творит сказки верность к машинам, станкам и лошадям, не говоря уж про верность к людям.

Да будь на то моя власть, я бы орден и геройские звездочки давал тем, кто на полторке да у фрезерного станочка жизнь прошел, показав тем самым пример уважительности к существам неодушевленным — но существам! — кто показал окружающему разгильдяйству, почему вещь, человека способная возвыситься до вершин человечности высочайших!

Но — увы! — чаще бывает так. Иду я по московской улице, где снесли недавние бараки, где только что жил человек, еще тепло его не выстыло — и на тропке, веером, рассыпаны фотографии, от старинных, пожелтевших до вполне современных, не таких давних.

Я присел на корточки, взгляделся в лица на снимках — боже ж ты мой, с каким вниманием глядят на меня из фотографических рамок незнакомые люди, лица напряжены: не в фотоаппарат они уставились, на меня смотрят: неужто и ты разожмешь пальцы, бросишь нас в снег и грязь, ведь мы тогда исчезнем навсегда, понимаешь, уже навсегда, и ничто, нигде не напомнит о том, что и мы жили, и мы любили, и мы плакали и кричали от боли и в болях этих родили тех, кто воспитал людей, которым даже наше изображение в тягость?

Грустно, тоскливо стало на душе.

Я взял пачку фотографий, сунул их в карман.

Ей-богу, можно посидеть от некоторых новостей, от некоторых наших нововведений. Я слышал, что теперь в букинистических магазинах покупают, а потом продают старые фотографии и открытки.

Покупатели не спрашивают, кто это на старом снимке и кому адресована красивенькая открытка. Фотографии и письма стали вещами.

Но я не против, нет! Пусть лучше так. Пусть лучше продаются эти фотографии. Пусть покупаются художниками, историками, режиссерами, другими знающими людьми и просто... чужаками.

Пусть только живут, не исчезают, забытые потомками.

Чем ближе к операции, тем чаще являлась ко мне бабушка.

Всегда опрятная, в коричневых, с ремешком, туфлях на низком каблучке, в строгом темно-синем платье с белыми крапинками и белоснежным воротничком, она усаживалась на лавочке, возле своего вятского дома и приветливо смотрела на меня. Седые волосы серебрило низкое солнце; оно высвечивало лицо, паутинку тонких морщин, все же не глубоких, не горьких и старческих, а точно образованных усталостью долгой жизни, долгой дороги.

Бабушка смотрела на меня, точно я все тот же светловолосый малыш, только что вылезший из буфета, ее взгляд был не просто доброжелательным, но озабоченным — и я знал, что это озабоченность мною, моими делами, моей семьей, моим здоровьем — бабушка несла вечную ответственность за меня перед самой собой, как тогда, давным-давно, когда я плохо ел или перебежал дорогу у нее на глазах, или вынимал из портфеля тетрадку не с двойкой, нет, а с тройкой!

Пока я учился в начальной школе и шла война, после уроков я бежал к бабушке, и ей первой приходилось разбираться в моих удачах и неудачах. В первых классах мне везло, то ли всех нас жалели, то ли просто все пока получалось, и меньше тройки я не приносил. Впрочем, тройка вызывала такой бабушкин испуг, она так отчаянно всплескивала руками, хваталась за голову, такое испуганное было у нее лицо, что мне делалось нехорошо, я потел, комок слез подступал к горлу, я чувствовал себя самым отъявленным бездельником, а сам тайком думал: что же будет, если я, не ровен час, схвачу двойку?

Что будет с бабушкой?

В первый класс я пошел на год позже, чем полагалось, в сорок третьем. Отец ушел на войну добровольцем, сразу же, как объявили мобилизацию, в первые дни июля, я думаю, это и сыграло свою роль в моей отсрочке.

Отец уехал, но первое время его часть находилась неподалеку от города; мама рассказывала не раз, как она отправилась на свидание к нему, села на какой-то случайный поезд, который стоял у всякого столба, потом шла пешком вместе с другими женщинами — пекло солнце, они не знали, какую часть ищут, все покрыто тревожной секретностью, ищут своих мужей, вот и все.

Наконец, встретились, поговорили через забор, точнее, через провололочное ограждение, потом снова назад и полная неизвестность, что будет завтра. Жизнь с началом войны менялась стремительно, в город прибывали эвакуированные, по улицам шли неумелым строем призванные мужчины с безоружными командирами впереди и сзади.

Из железнодорожной поликлиники мама перешла в военный госпиталь — они открывались едва ли не в каждой школе. Тихий город участил свой пульс, народу прибывало, рассказывали, что приехало правительство Латвии, потом Военно-медицинская академия из Ленинграда, новый завод, который будет делать шины для грузовиков и орудий, и еще заводы, не один. Спешно формировались детские дома. Людей уплотняли, в быт уверенно входили новые выражения: еще вчера такое страшное слово «ордер», теперь означавшее также место на жилые и распределение промышленных товаров, и слово «карточки».

Все менялось вокруг, только один я по-прежнему ходил в детский сад «Октябренок», ведомый туда и обратно за ручку любимой и любящей бабушкой. Я ощущал войну только по возбужденной оживленности взрослых. Да еще по белым крестам.

Однажды бабушка заварила на керосинке какую-то бурду и принялась резать бумагу на длинные полосы.

— Вышел приказ, — объяснила она мне, — заклеить окна.

Я не понимал, как же тогда глядеть в окошко, если заклеить его бумагой. Но оказалось, наклеиваются только полоски, и бабушка аккуратно, стирая лишний клей чистой тряпочкой, выводила бумажные кресты на стекольных плоскостях.

После работы мама всякий раз заходила за мной к бабушке. Молодая, намного моложе меня нынешнего, она запомнилась мне в шерстяной, очень яркой зеленой кофточке. Окраска этой кофточки была совершенно необыкновенной — не цвета травы, не ранней листвы, а скорее цвета елочной игрушки, с каким-то необыкновенным блеском, кофточка очень красила маму, оттеняя ее тонкий румянец.

Мы ждали ее с нетерпением, она приносила изве-

стия о том, что происходит в городе, но главное, она работала в госпитале, и от нее мы узнавали горькую правду войны.

При мне мама была сдержанна, старалась не выдавать волнения, не знаю уж как она говорила с бабушкой, отправив меня погулять во двор; чаще всего она повторяла, что ночью опять пришел эшелон с ранеными и было много срочной работы.

Как-то вечером — он всегда приходил позже мамы — вернулся совершенно неизвестный дед.

При входе в комнату стоял сундук, накрытый лоскутным половичком, — дед сел на сундук, скинул зеленую фуражку, подобную той, которую носил Сталин, и повесил голову.

— Ну! Что опять? — сказала бабушка и строго, и испуганно сразу, будто дедушка каждый день чего-нибудь вытворял.

— Вызвали, — сказал он с хрипотцой, — говорят, ты партийный, утверждаем директором обувной фабрики.

Бабушка испуганно прижала ладонь ко рту, словно боялась, что вырвется стон или крик, или какое неловкое слово.

А дед снова повесил голову.

Вот такие происходили вокруг меня дела. А ведь до первого сентября оставались дни. Бабушка и мама поглядывали на меня жалючи, с тревогой, хотя, как я теперь понимаю, у самих-то у них ничегошеньки не было ясно. Как и у всей страны.

И они принялись обсуждать мою судьбу.

— Боюсь даже, что у него малокровие, — сказала мама.

— Какая такая нужда? — спрашивала себя бабушка и оглядывала меня сверху вниз каким-то медицинским взглядом.

— К тому же создаются подготовительные классы! — говорила мама.

Это задевало уже меня. Я умел читать, довольно неплохо для своих лет, чуточку писал, знал все буквы алфавита и умел считать. При таком богатстве идти в подготовительный класс?

Дедушка утвердил женское решение, и в сорок втором я в школу не пошел: первого сентября мне не доставало до семи лет тринадцати дней.

Между тем операция приближалась, и с тайного благословения Вячеслава Алексеевича, милго Славы, меня отпустили из больницы на один день. Утром, после завтрака, я должен был уйти, чтобы к ужину непременно вернуться. Слово чести.

Вообще это был явный грех, с внутренним кровотоком положено лежать пластом, меня ведь привезли в бокс на коляске, несмотря на мои протесты, смех и даже попытки сопротивления. Но Слава, как и я, знал, что меня поднакачали заемной кровью, что ручьями она из меня не льет, что в моем распоряжении будет редакционная машина, и ни бегать, ни прыгать, ни толкаться в метро мне не придется.

При этом он возражал как только мог. Убедил последний довод:

— Мне нужно закончить некоторые дела!

Он смотрел, все понимая.

— Надо захватить кой-куда.

Сама мысль об этом сбивала с ног — действительно, есть на белом свете обязанности, прятаться от которых нельзя, не подобает, хотя сама мысль... Я сделал так, что заехал к нотариусу без тебя, один, выполнив простые и необходимые распоряжения. Потом подъехал к дому.

На улице, на пронизывающем ветру, толклись два товарища. Я удивился, мы ведь не раз виделись в больнице. Что это значит? Прощание?

Я, кажется, вспомнил заваливший анекдотец, они смеялись, но в их глазах застыло еще что-то, может, жалость, смешанная со страхом. Признаться честно, они были далеки от меня в тот момент. Я чувствовал смысл их дежурства. Они не были мне приятны со своим доброжелательством. Я позвал их в дом, они отказались, я не стал уговаривать и был, пожалуй, прав.

А ты приготовила мне праздник. Был накрыт такой удивительно вкусный стол, но главное, после февральского ветра тут оказалось тепло, тихо, тут было то, из чего я ушел в больницу и к чему так тяжко два долгих месяца рвалась назад моя душа.

Я старался быть бодрым, острил, изображал зверский аппетит, хотя кусок не лез в горло, ты охотно отзывалась на самую слабую попытку пошутить, и мы словно играли друг перед другом сцену — чего вот только, на какую тему? Возвращения? Даже сама мысль об этом суеверно отвергалась. Когда оно будет? И как?

В конце концов я не выдержал, сказал тебе, что жалею об этом приезде, дома так хорошо, тихо, словно в бухте, укрытой от всех ветров в прямом и переносном смысле слова, а я должен вернуться, ничего не поделаешь.

Мы присели, как перед дальней дорогой, я поцеловал сына, двинулся к двери, про себя подумав, что, если все кончится благополучно, я буду совсем по-новому любить свой дом, буду стремиться к тишине среди прекрасных книг и долгим покойным вечерам рядом с родными.

Накануне меня подготовили по всем правилам мучи-

тельного искусства, спозаранку прилетела ты, как всегда, нарядная, с полукружьями под глазами.

Мы сидели рядом, рука в руке, ждали, когда откроется дверь и въедет, громящая колесами, каталка.

Но в коридоре было тихо, лишь на посту у дежурных сестер за тонкой стеклянной перегородкой булькала вода — кипятились шприцы и иглы.

Послышались скорые шаги, на пороге появился Вячеслав Алексеевич, Слава, сказал, улыбаясь:

— Операция отменяется.

Это длилось секунду, не больше. Угасшая надежда, словно ее обдали струей кислорода, вспыхнула необычным огнем, заполонив все тело. Неужели ошиблись в диагнозе? Придумали что-то новое, и можно обойтись без операции?

— Савельева избрали академиком. Переносится на завтра.

Отсрочка походила на вчерашнее возвращение своей напрасной обязательностью. И то, и другое было как будто приятным, но все-таки обманом, и оставляло горькую оскомину сожаления. Не зря же есть такая поговорка: нет занятий хуже, чем ждать да догонять.

Весь день повторился, был дублем вчерашнего, я жил его тягостно как никогда, потому что меня заставляли ждать дважды. Переждать — означало перегореть, и мне, сознавая это, предстояло удержаться себя, не позволить расслабиться, протянуть ощущение на два дня, словно растянуть кусок проволоки. Моя проволока утоньшалась, значит, становилась слабей...

Я говорил с тобой, кажется, даже успокаивал, но, помимо моей воли, какие-то клапаны уже были заперты, какие-то, наоборот, открылись, я уплывал от тебя, уходил в свой завтрашний мир, где я — лишь мое распластанное тело.

Но куда уйдет мой рассудок? Где будет он?

За всю свою жизнь, не считая самого начала болезни, я ни разу надолго не расставался с сознанием, худо ли, бедно ли, но судил себя, оценивал окружающий мир, совершал поступки, руководимый рассудком, а завтра — нет, уже сегодня — из-за приятной неожиданности, из-за избрания вполне еще молодого Савельева академиком, — я оставался один на один с ним, точнее, с ними, точнее, со всем, что они умеют, в том числе с их умением обрывать мысль на полуборозе, с тем чтобы...

Я еще говорил с тобой, я еще сидел в коридоре, я лежал в кровати перед сном, открыв глаза, но я уже ехал туда, я уже плыл, я уже летел, как тогда, в давнем детстве, в своем любимом буфете. К тому, что умел я тогда, так далеко, прибавилось знание, и я видел море.

Поэтому я мог еще плыть на белом как снег корабле.

Последний ужин — горсть таблеток, среди которых ампулы, похожие на полупроводники.

Последний завтрак — горсть таблеток, кажется, похожих, а может, тех же самых.

Лицо сестры со шприцем, укол, приказание лежать спокойно, не двигаться.

Я чувствую, как расслабляется, прямо-таки разваливается тело. Хочу повернуться, но делаю это с трудом: смешно — руки не слушаются меня.

Где же ты? Я недоумеваю, потом устало злюсь. Сейчас прикатят каталку, и я не увижу тебя.

Но ты возникаешь рядом, не понимаешь, конечно же, что со мной, тебе кажется, у меня такое состояние, и руки холодные, а мне надо собраться, мне надо быть готовым, и ты принимаешься растирать их.

Я хихикаю, смех достигает моих ушей с явной задержкой, будто звук медленно ползет из соседней палаты. Объясняю тебе, что это последний предоперационный укол. Специальная подготовка.

С трудом, но я понимаю, что тебе хуже, чем мне. Тебя, кажется, знобит, но ты шевелишься, движешься вокруг меня — лихорадочно прибираешь на тумбочке.

— Сядь, — говорю я. — Не суетись! Так, чтобы я тебя видел.

Ты садишься мне в ноги, держишь мою ладонь. Я улыбаюсь тебе. Ты целуешь меня.

— Там мама, — говоришь ты. — Но ее не пустили. Только меня.

Я киваю.

Да, я киваю, я еще вижу тебя, но так кивают и так видят, когда отплывают на пароме через нашу старую Вятку. Я вижу и киваю, но нас уже разделила вода.

Все. Будь что будет.

С грохотом отворяются обе створки двери, две молоденькие сестры, может быть, даже студентки, вкатывают каталку.

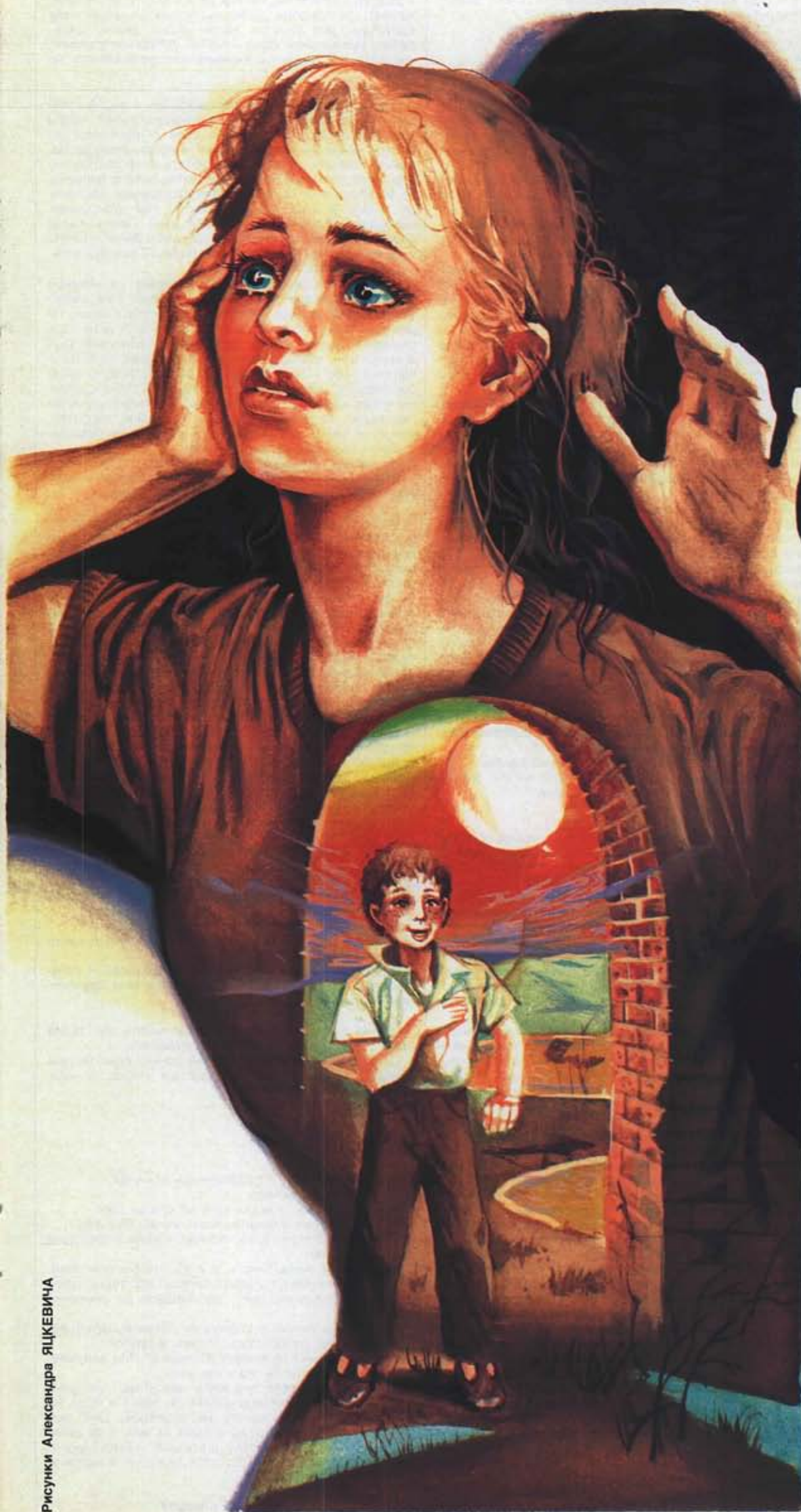
Они толкуют, что мне надо раздеться донага, положить на каталку одеяло так, чтобы свободной половиной можно было укрыть меня.

Ты помогаешь мне раздеться, расправляешь одеяло, аккуратно подтыкаешь его под меня. Но ноги голые, они торчат прямо на каталке, обшарпанное железо холодит пятки.

Соседи говорят мне утешительные слова, ты идешь рядом, я слышу знакомый стук твоих каблучков.

Твое лицо. Я вижу только его. Смотрю лишь на него.

Маленькая остановка — теперь уже действительно последняя — перед лифтом. Ждут, когда он придет. Ко мне бросается мама.



Рисунки Александра ЯЦКЕВИЧА

Маленькая и седенькая, это она. Она плачет, причитает, ты говоришь ей, чтобы она успокоилась, но мама повторяет сквозь слезы:

— Сыночек! Сыночек!

И мне приходится, расталкивая обступившую немоту, приподняться на локти и сказать строго, даже прикрикнуть:

— Мама! Перестаньте! Что вы!

Мы въезжаем в лифт, потом выбираемся из него, рядом со мной, до самого порога, два родных лица. Наконец вы исчезаете. Я поднимаю руку.

С каталки я перебираюсь на операционный стол. Меня прикрывают простыней.

Мне ни хорошо, ни плохо — мне все безразлично, но я отмечаю, что обращаются ко мне по имени-отчеству. И даже ласково:

— Давайте ручку.

Я протягиваю ее. Ощущаю укол. Сестра опытная, попадает в вену с первого раза.

Стараюсь не глядеть по сторонам, но все-таки последним взглядом вижу мелькнувшую бестеневую лампу. Я закидываю голову и вижу знакомое лицо. Это врач-анестезиолог. Она приходила ко мне в палату, задавала разные вопросы. Теперь ее лицо в моем взгляде перевернуто.

— Возьмите эту штуку, — говорит она, — и закусите ее зубами.

Я слушаюсь.

— Теперь вдохните, — говорит она, и это последние слова, какие я слышу.

Опускается ночь.

Я думал, это будет сон. Пусть с дурными, но видениями, с надеждами, что настанет утро и все развеется.

Но это было ничто.

Глухая чернота, в которой я не находил себя.

Не было ничего. Ни памяти, ни красок, ни чувств. Может, именно это заставляло меня выяснять потом у Пети меру ответственности врача. Одно дело разрезать человека и копаться в нем, спасая его, другое — исключить самое священное — сознание, остановить движение души.

Выспрашивая Петю, умом я понимал, что на самом деле мы живем в мире материализма, где предствление о сердце отличается от литературного понимания его, это просто мускулистый насос, качающий кровь, мозг — серое вещество, а душа — и вовсе идеалистическое понятие.

И все же странно мне до сих пор, неясно, несмотря ни на какие объяснения — где же обретается душа, память, любовь в тот миг, когда анестезия опускает тебя во мрак, в нечто.

И, может, это нечто — приближение к тому, чем кончается все живое? Генеральная репетиция?

Но если запредельность есть темное нечто, где никто не находит себя, своей души, где никто не правит своими мыслями хотя бы только потому, что их нет, как нет решительно ничего, — если все это там, не походят ли тогда воспоминания живых о дорогих существах, перешедших в тот черный мир, сама память о них — на дикое заблуждение, идеализм в самом тяжком виде?

Память нематериальна. Нематериален и продукт человеческого мышления. Правда, мысль можно записать на бумаге, на куске холста яркими красками, но сама по себе она неосязаема, выходит, нереальна.

Логично с точки зрения материализма, но нам отчего-то тесно в этой логике, скучно от такой истины.

Хочется другого! Снов хочется — цветных, с живыми лицами, которых уже нет рядом с нами, хочется подсказанных слов, произнесенных давным-давно, забытых песен, нам хочется, чтобы что-то нематериальное вдруг восстановило в сознании старую улицу вовсе иной, чем она теперь, поставило обшарпанные домишки, в одном из которых, на углу, окажется магазинчик с выцветшей вывеской, а там хромым инвалид с загорелым лицом продает послевоенные тянучки в папиросной бумаге.

Что-то нематериальное вдруг сдавит горло, защекочет в глазах, заставит вспомнить солнечный миг первого поцелуя, нескладной записки, сильной до боли любви, ощущение счастья, затем тревоги, обиды, скорби, потом прощения, очищения, ясности...

Но не слишком ли много нематериального? Не слишком ли оттого зыбок наш мир? Жить лишь одной памятью неудобно, непрактично, а то и опасно.

Верно. Только жить без памяти невозможно. Кроме вполне материальных квартир, человеку надо витать в облаках, жить в заповедных замках своего духа, построенных из памяти, из веры, надежды, любви.

Да, там темно, это правда.

Там люди не могут отыскать друг друга. Не могут отыскать себя.

Но мы, живые, видим их с нашего берега.

Пока мы живы, мы помним.

Он есть, есть этот мостик над границей между жизнью и смертью. Та часть его, что ближе к нам, светла. Та, что подальше от нас, — теряется во тьме.

На мосту дежурит память — бессонный часовой. Когда мы забываем о прошлом, мы засыпаем сердцем — и часовой будит нас.

Плохо, когда ему не добудиться, не докричаться.

Плохо.

Потому что с того берега — ничего не видно. Видно лишь с эдбо, и память требует от нас именно этого — смотреть.

Наступало пробуждение.

Сперва — ощущение света. Что-то белое, может быть, солнечное сразу и мигом вошло в сознание. Я еще ничего не видел, наверное, и глаза мои были закрыты, но в меня влился свет. Потом — покачивание и громкий, ясно слышимый голос, который звал меня по имени-отчеству. Я отворил глаза и увидел перевернутое и где-то виденное лицо. Жизнь напомнила подробности не спеша. Только через растянутый миг я догадался, что это врач-анестезиолог. Она протянула руки к моему лицу и сделала какое-то движение. Меня снова покачало. Еще через одно растянутое мгновение я понял, что меня похлопали по щекам.

— Просыпайтесь! — сказала женщина мягко. — Просыпайтесь!

Я сделал неимоверное усилие и раздвинул свинцовые веки.

— А теперь откройте рот.

Из меня что-то вынули, огромное и черное, стало как будто легче; я вновь закрыл глаза. Странное дело, я не мог ничего видеть, но голоса слышал очень ясно и как-то необыкновенно свежо. Точно уши мои проснулись отдельно от моего взгляда, от моего сознания.

Меня снова похлопали по щекам.

— Просыпайтесь и перебирайтесь на каталку! — сказал другой женский голос.

Кажется, я издал в ответ какой-то звук. Или это только кажется? Я понял, что мне надо подняться на локти и что-то сделать дальше, но только оторвал голову от стола. Тяжесть оказалась неимоверная. Степень земной гравитации возросла во много крат, пока я тут загорал под бестеневой лампой.

— Он не сможет, — сказал чей-то женский голос.

— Давайте перенесем, — ответил ему мужской.

Когда меня приподняли, я опять открыл глаза и снова впал в сон.

Потом я услышал твой голос. Ты настойчиво окликала меня, и я открыл глаза. Тогда ты сказала:

— Все хорошо! Ты слышишь меня? Ты слышишь?

Я, кажется, кивнул.

— Все хорошо!

Колеса каталки скрежетали с железнодорожным грохотом, пробивая меня насквозь своим беспощадным звуком.

Перенесли еще раз. Подключили куда-то, сказали: — Дышите носом.

Скользнули по штанге кольца, к которым прикреплена полупрозрачная пластиковая штора.

Я остался один. Можно спать дальше.

Но возвращенное сознание, словно утопающий, хваталось за соломинки — за слова, за звуки, за запахи, пусть это даже противные запахи лекарств.

Наверное, я все-таки отключался, потому что время от времени рядом со мной возникала сестра и говорила:

— Не спите! Не спите!

Потом заходили врачи — один, другой, третий, все новые, незнакомые, откуда столько? Один щупал пульс, другой измерял давление.

Потом послышался топот толпы, шторы вокруг меня со всех сторон шумно раздвинулись, и я наконец-то увидел своего благодетеля, знаменитого Савельева.

Сейчас он бодро улыбался, весело глядел на меня, двигал по животу холодный пятак стетоскопа, говорил мне:

— Урчит! Хорошо, раз урчит!

Поднакопив силенок, я проговорил:

— Поздравляю, Зик Сергеевич! Я у вас первый? Академический-то?

Он хохотнул, довольный:

— Первый!

Через какое-то время глаза мои проснулись окончательно, догнав уши; из самых дальних уголков, точно из изгнания, вернулись мысли, теперь уже не за соломинки, а за прочный берег жизни ухватились мы все сообща, вглядываясь, вслушиваясь, внюхиваясь в окружающий мир.

Я лежал под углом, на жесткой послеоперационной кровати, в нос мне дула струя кислорода сквозь тонкую трубочку, прикрепленную, как и у всех, обыкновенным пластырем, и я отцепил этот проводок, отдрал пластырь, мне надоела эта помощь, а раз надоела, вышло, я уже все чувствовал.

К ночи я проснулся окончательно, больше того, мной овладело необыкновенное оживление. Наверное, силы, нужные мне и соединенные врачами вместе на эти тяжелые сутки, вступили в действие — и многие флаконы донорской крови, и разнообразные растворы и лекарства, которые продолжали вливать в меня, делали свое дело, помогали, к тому же, остатки наркоза, так что голова моя чувствовала не только бодрость, но прилив сил и пьянящей легкости. Не слушалось тело, меня заставляли ворочаться, а выходило это с трудом, но зато голова была свежа и готова к работе.

Какой уж тут сон!

Рядом по-прежнему что-то пытело и чавкало, подалеке кто-то стонал, но голова моя не желала сосредоточиваться на этом, ей хотелось непременно на волю, к здоровью.

Подошла сестра, протянула ниточку оттуда:

— Вам жена и мама ваши кланяются. Они у двери, спрашивают, как вы себя чувствуете?

— Скажите, нормально.

Сестра исчезла, вернулась снова:

— Они говорят, что побудут здесь.

— Нет, — сказал я. — Пусть идут домой.

А ты стояла на сланной лестнице со старинным моим дружком, тоже Славкой, и санитаром, не то иранцем, не то иракцем — студент прирабатывал к стипендке в больнице, — и прямо из горлышка отхлебывали вы коньяк по кругу. Ты сказала потом, из маленькой, плоской бутылочки.

Ты плакала, тебя знобило, сразу же, без перехода, ты смеялась, и Славка, и тот веселый санитар не то из Ирана, не то из Ирака, старались тебя отвлечь, успокоить, рассказывали анекдоты, конечно же, неприличные, разве отреагировала бы ты сейчас на приличные анекдоты.

И Бунин, и Савельев сказали мне, что все в порядке. Окончательная гистология будет, конечно, позже, но экспресс-анализ подтвердил, что дело обычное, и разве мог я тогда не поверить в эту облегчающую меня неправду?

Ну вот! А мое освобожденное сознание перебирало все подряд. Ни к селу ни к городу вспомнил Толстого, конечно, Льва Николаевича, как он писал: ЕБЖ, если буду жив. Что ж! Я пока жив.

Потом пришла бабушка, велела протянуть ладонь, но сначала лизнуть ее середку.

Мне было щекотно, но она крепко держала мою руку и писала химическим карандашом номер моей очереди. Едва дописала — каждое движение карандашного носика по ладони вызывало холодный озноб почему-то в позвоночнике.

Я поглядел цифру. На ладонке было написано: 1935. Ого, подумал я, какая сегодня очередница за мукой. Мы стояли в магазине по улице Ленина, напротив восьмой столовки, магазин этот назывался «под лестницей», хотя стоял он как раз не под, а над лестницей — десяток ступенек влез к входу в него, но муку давали не там, не с парадного входа, а со двора, чтобы очередь не мешала никому, и она струилась мимо другого магазина, где продавали до войны очки, а теперь была там обычная аптека, и у аптеки, у очкового магазина были два знаменитых, совершенно круглых, больших окна — точно очковый магазин сам носил очки, — так вот, очередь струилась мимо этих круглых окон в обрывистое узкое ущелье между двумя старыми домами, во двор, где сквозь какую-то дыру давали коммерческую, без карточек, послевоенную муку по два килограмма на руки.

Руки переписывали химическим карандашом.

Я присмотрелся к своему номеру: что же это, бабушка написала мне совсем другую цифру.

Год моего рождения.

Потом мы обернули мешковиной четыре лопаты и двинулись вниз по Раздерихинскому оврагу, сперва глинистой тропой, потом булыжным съездом к дебаркадеру, к парому.

Маленький, но весьма горластый буксир с человеческим именем «Митя» вытянул из воды трос, тот задрожал, натягиваясь скрипичной струной, раскидывая брызги мелкой пылью, казалось, еще немного, и единственная струна эта запоеет, заноет от непосильной натуги. «Митя», попыхав из трубы черной гарью, одолевал течение, брал, точно пловец, выше дебаркадера на противоположной стороне, и я принимался слушать частый плеск мелких волн о паром.

На реке всегда было ветрено, даже в самую жару, а по осени холодок поддувал знобкий, и руки у меня стыли, зато, едва мы причаливали к дымковской стороне, сентябрьское солнце опять принималось за свое.

В тугом синем небе трещали крыльями миллионы стрекоз. Они то неслись, обгоняя нас, то замирали в воздухе, то передвигались вбок, и я думал: вот кабы были у нас такие, как стрекозы, самолеты, чтобы замирали на месте, садились вниз, не планируя, и без разбега взлетали, туго бы пришлось тогда фрицам!

Копать картошку на заречном заливаном лугу было легко, почву промывало тут каждую весну, никакие тебе камешки, а дерн давно превращен в удобные гряды, разделенные колышками. Мы поздоровались с соседями, дедушка разделся до майки, повязал круглую, под нулевку стриженную голову носовым платком со смешными узелками по углам, отчего появлялось как бы четыре маленьких кустика, и начал, хывая, с силой выворачивать кусты. Мне полагалась легкая работа; стараясь не отстать от ритма, я хватался за ботву и тянул ее под дедушкин колок; мама и бабушка шагали следом, рылись в земле, собирали клубни сперва в корзину, оттуда в мешок, и все мы радовались большим розоватым картофелинам, которые дарила нам земля, выделенная дедушке заводом. Урожай радовал еще потому, что родименькая картошечка кормила нас до самой весны, что к ней совсем не так уж много требовалось приправ — маслица, конечно, маргарина, комбижира или еще чего, если не было маслица, а то и вовсе за так, в мундире, с одной солью да пустым чайком — но это уже не голодуха, не зеленые, обморочные круги в глазах.

Потом, всю осень, я буду ходить по досочкам, проло-

женным в бабушкиной комнате, и мне это кажется в радость, интересно, куда уж в сторону не ступишь, потому что повсюду, даже под кроватью, разложена картошка: она сушится после сырой земли, чтобы потом, высушенная, одна к одной, увязанная в мешок, упрятаться в подвал и кормить нас до весенней зелени.

Дед был крепок, мы восхищались им, а он, не отвечая, вроде даже хмурясь, на похвалы являл новые примеры своей силы: таскал кули с картошкой на телегу, кантовал их и так и эдак, а когда колот дрова, любил, бывало, чурбачок разделать с легкостью, но еще и так, что кора оставалась почти цела, а древесина расколота на полешки, не разделанные, впрочем, до конца, а лишь самую малость, так что руками свободно отделишь их. Высший шик! Лежит такой барабан, вроде и неколотый, а на самом деле — готов, подволоки к печке — и можешь поленья закладывать. Дедушка спасал нас в войну.

Уж не знаю, как он директорствовал на обувной фабрике — скорей фабричонке — может, и не широко умело, ведь он был скорняк, хотя и партийный, но раньше всего рабочий, сам мастер, а для директорствования надо чего-то другое, и я, хоть мал был и неразумен, всегда жалел дедушку, когда он возвращался с работы темной порой, — снимет, бывало, свою бессменную зеленую фуражку, какую Сталин до войны носил, сядет на сундук при входе и сидит, дыхание переводит, будто кули таскал. А мешки, напротив, волок он бойко, как будто легки они ему и в радость.

Вот и вытащил он нас в войну.

Но, может, бабушка? А как же мама тогда?

Да нет, шли они, поддерживая друг дружку, и каждый тащил свой воз, и каждый тащил меня.

Мама ведет меня по улице, в снег, в ветер, заводит в кирпичный дом, где пахнет карболкой, велит мне посидеть на белой, больничной скамье и караулить ее пальто, а сама зачем-то заворачивает рукав и скрывается за белой дверью.

Там чего-то как будто с силой бросают: железное о железное, мне становится страшно за маму, она появляется из-за двери, улыбается мне, но лицо у нее бело-зеленоватое, она просит меня не торопиться, будто я куда-то спешу, а не она привела меня сюда, потом одевается, и мы идем на берег.

Это самое красивое место в городе. На крутом берегу Вятки два самых лучших одинаковых дома постройки первых пятилеток смотрят друг на друга. В одном из них магазин, где нет очереди и есть все продукты. Знаменитый донорский магазин.

Я знаю, что сюда можно прийти только из того дома, где были мы с мамой. Там сдают кровь. Здесь дают за эту кровь продукты.

Мама покупает их. Много маленьких кулечков.

Но, может, мне только кажется, что много, на самом деле два или от силы три?

В одном кулечке торчит комочек топленого масла. Мама подводит меня к широкому подоконнику и кладет прямо в рот этот сказочный кусочек.

До войны я терпеть не мог масло, особенно топленое. Сейчас оно тает во мне, согревая живот.

Я смотрю на маму, и мне страшно.

Усталые глаза на сером лице. Во всем белом свете нет у меня родней человека.

Снежинки растаяли на мамином воротнике, и собачий мех слился в острые, жалкие перья. Мне кажется, маме холодно и мокро.

Ночью, когда ко мне вернулась память, ее, точно птицу, спугнули громкие шаги настоящей.

Они остановились по ту сторону тонкой пластиковой занавеси, послышались отрывистые слова, точнее, междометия.

— Видите?

— Да.

— Ну конечно?

— Есть?

— Нет.

Протяжная пауза и подавленная команда:

— Можете отключать.

Насос, который помогал мне не спать, стих.

— Как следует уложите. Ноги, ноги... Вот так.

Снова загрохотали шаги, брякнули кольца соседней шторы. Я понял.

Мы лежали очень тихо — я и то, что было человеком еще пять минут назад. Теперь это тело, всего лишь тело, протяни руку, дотянешься до соседней шторы.

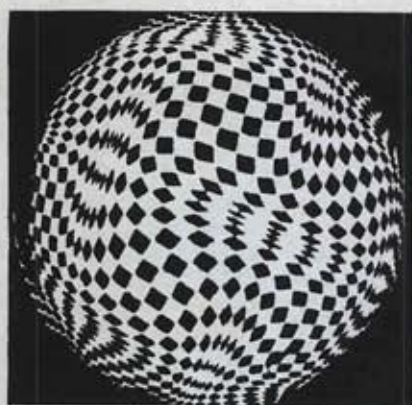
Сердце мое билось в спокойном ритме выздоровления, а тут оно споткнулось. И раз, и другой.

Кто лежал там? Мужчина? Женщина? Или девушка, паренек, которому бы жить да жить...

Я представил себе его мать, его отца, они пока ничего не знают, они еще надеются, верят в чудо, но все уже случилось, ничего не изменишь. Они еще надеются, его мать и отец, а сына их нет, и об этом, кроме врачей, до утра буду знать еще только один я.

Мне стало не по себе от этой тяжести, я неловко дернулся и застонал.

Окончание следует



31-я ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Под редакцией гроссмейстера Виктора ЧЕПИЖНОГО

ПАРАД МИНИАТЮР
В. ШПЕКМАН
1964 г.



Мат в 3 хода

Уже беглого взгляда на позицию достаточно, чтобы определить: цели можно достичь только с помощью превращения одной из белых пешек. Бесперспективность варианта 1. e7 Kpg6 2. e8Ф+ Кр:h7 устанавливается быстро. Итак, дорогу пешке h7! Попробуем. 1. Сb2 Крg6 2. h8Ф — пат! Даже при 2. h8Л — все равно пат! Превращение же в легкие фигуры здесь не имеет смысла.

Разгадка в согласованном действии слона и пешки. 1. Сf6! Заблаговременная жертва слона на поле f6! 1. ...Крg6 2. h8Л! (но не 2. h8Ф) Кр:f6 3. Лh6х.

ТРЕТИЙ ТУР



Белые: Кrb2, Фg1, Кd6, п.h5 (4)
Черные: Крh8, п. g6, h6 (3)
Мат в 3 хода (2 балла)

II

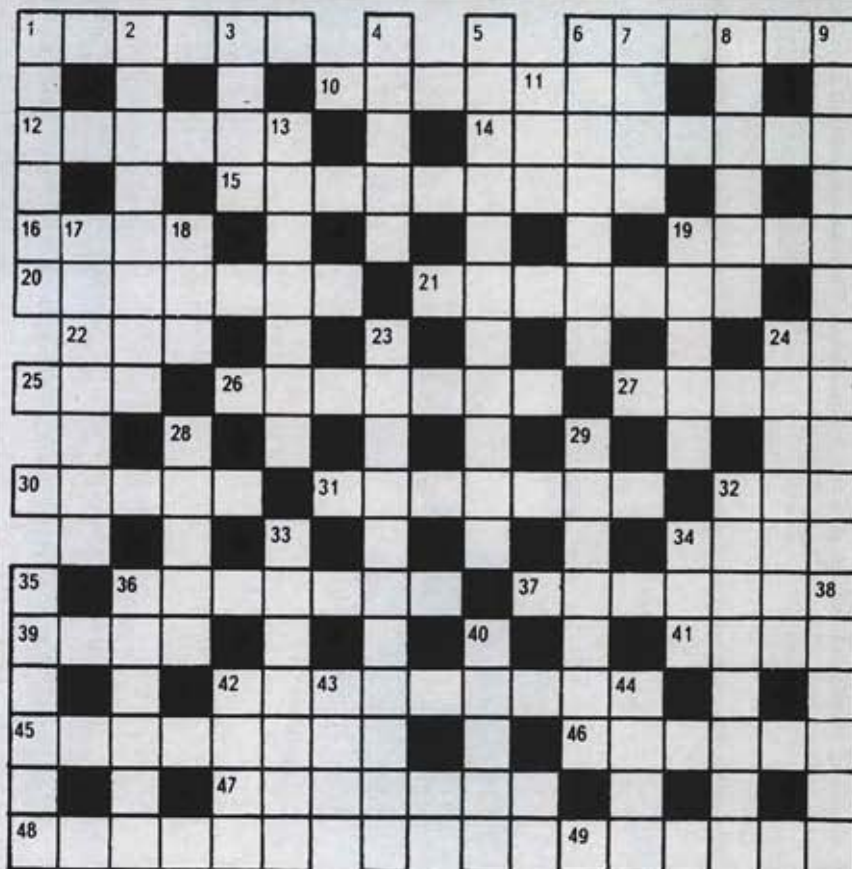


Белые: Кра7, Фе7, Сh1 (3)
Черные: Крс8, Лb8, Ка8, п.а3 (4)
Мат в 3 хода (2 балла)

Ответы на задания присылайте только на открытках (без конвертов!) с пометкой «31-я шахматная олимпиада. III тур». Последний срок отправки писем — 1 июня.

КРОССВОРД

Составил Н. Королев, г. Железнодорожный Московской области



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Каждый из семи остроконечных предметов, изображенных на флаге Венесуэлы. 6. Армянский полководец VII века, боровшийся за независимость родины от Арабского халифата. 10. Висевшая на одной пуговице деталь одежды у кондуктора (И. А. Бунин, «Деревня»). 12. Источник притяжения. 14. Демьян Бедный как «дальний родственник» тургеневского Базарова по взглядам на культуру. 15. Русский ученый, говоривший: «Слеп физик без математики, сухорук без химии». 16. Побывавший в чреве кита библейский персонаж. Ученые считают, что он был реальным лицом. 19. Шведский живописец и график. 20. Просвет между днищем машины и дорогой. 21. Знаменитый русский шахматист, ярый противник ничьих. 22. Вечный неизвестный. 25. Гадюка с крестообразным рисунком на голове, очень напоминающим силуэт летящей птицы. 26. Человек без воли, ни рыба ни мясо. 27. Утка с ярким зеленым

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Дорога по замерзшей реке. 2. Учение о наследственном здоровье человека. 3. Обезьяны, чьи кисти рук напоминают человеческие. 4. Английская писательница, предшественница натурализма. 5. Псевдоним, под которым Е. Ростопчина издала в 1839 году «Очерки большого света». 6. Провансальский танец, название которого, как считают, связано с именем известного танцмейстера. 7. Колесо для передачи движения с помощью ремня или каната. 8. Биение двух сердец в одном ритме. 9. Другой полюс лжи. 11. Излюбленное в средние века дерево для изготовления луков. 13. Обычное сооружение при прокладке метр. 17. Австралийский физик, открывший изотоп водорода — тритий. 18. ...нова — прогрессивное направление в итальянской и французской музыке XIV века. 19. Человек без стыда и совести. 23. Героиня стихотворения А. Ахматовой «Тень».

зеркальцем на крыле. 30. Звание писателя В. А. Арсеньева в 1902—1903 годах. 31. Лук на ложе как оружие. 32. Река в СССР, в устье которой водится белуха. 34. Самая высокая на острове Крит гора. 36. Большой географический атлас как книга. 37. Арабская страна, в гимне которой слов нет. 39. Каждый местный житель римской провинции на территории современной Франции. 41. Иллюминатор (суть). 42. «Какой-то...» нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подосуденных ботинках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос» (А. Чехов. «Человек в футляре»). 45. Частица, для которой толща Земли почти то же, что решето для воды. 46. Один из основоположников советского художественного конструирования. 47. Змея. Если в террариум к ней подбросить несколько мышей, то она скорее всего одновременно схватит и задушит штуки четыре. 48. Финское научно-исследовательское судно. 49. Трава, препятствующая на вырубках возобновлению леса.

24. Серп — коса — жатка — ... 28. Певчая птица, впервые завезенная в Австралию в 1863 году. Сейчас она там встречается большими стаями. 29. Поделочный камень, открытый Л. Перовским на Урале и в 1833 году впервые описанный Н. Норденшильдом. 32. Парфюмерное средство. Изобрел его кельнский фабрикант Ж. М. Фарина. 33. Одно из прозвищ Афродиты. 34. Мыс на восточном побережье острова Хонсю. 35. Африканская страна, в природе которой преобладают два цвета: коричнево-красный (земля) и густозеленый (растительность). 36. Музыкальный инструмент, встречаемый на фресках Древнего Египта и Греции. 38. Песец между возрастами копанца и недопеска. 40. Человек, повязанный по рукам и ногам. 42. Очень дальний родственник моря. 43. Другое название реки Бирюса. 44. Строй, из-за которого армии во времена огнестрельного оружия несли большие потери.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

По горизонтали:

1. Ряска. 4. Иодль. 8. Соллюкс. 13. Баллада. 14. Тропник. 15. Лысково. 16. Сандрик. 17. Луковка. 18. Изобара. 22. Мечта. 25. Шпора. 28. Вахтангов. 29. Герма. 30. Аргус. 31. Торф. 32. Хлор. 33. Фишка. 35. Танго. 36. Равенство. 37. Найда. 40. Венда. 44. Участок. 49. Лядунка. 50. Ротонда. 51. Норейка. 52. «Хуторок». 53. Горилла. 54. Иравади. 55. Данте. 56. жабры.

По вертикали:

2. ...явление... 3. Квадрат. 5. Овоскоп. 6. Ландвер. 7. Обыск. 8. Салки. 9. Леско. 10. Юкола. 11. Стола. 12. Экран. 19. ...Захаревич... 20. Брат. 21. «Риголетто». 22. Мегафон. 23. Черешня. 24. Аватара. 25. Швартов. 26. «Органон». 27. Аксиома. 34. Янус. 38. Авдотка. 39. Дендрит. 41. Евтерпа. 42. Данглар. 43. «Плаха». 44. Уанки. 45. Аорта. 46. Тайна. 47. Краги. 48. Фазан.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СМЕНА '89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года. Выходит два раза в месяц.

№ 5 (1483) МАРТ

Главный редактор Михаил КИЗИЛОВ

Редколлегия:

- Сергей БАБКИН (заместитель главного редактора)
Борис ДАНЮШЕВСКИЙ (заместитель главного редактора)
Александр КУЛШОВ
Андрей КУЧЕРОВ
Альберт ЛИХАНОВ
Иосиф ОРДЖОНИКИДЗЕ
Сергей ПОПОВ (ответственный секретарь)
Юрий РАГОЗИН
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Евгений РЯБЧИКОВ
Вадим САЮШЕВ
Виталий СЕВАСТЬЯНОВ
Владислав СЕРИКОВ
Виталий ФЕДОРОВ (главный художник)

Художник Александр КЛИЩЕНКО
Технический редактор Елена НАЗАРОВА

Сдано в набор 19.01.89.
Подписано к печати 08.02.89.
А 00222. Формат 70 × 108¹/₁₆.
Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 5.60. Усл. кр.-отт. 19.60. Уч.-изд. л. 10.26. Тираж 2 500 000 экз. Заказ № 89. Цена 35 коп.



101457, ГСП, Москва. Бумажный проезд, 14



212-15-07 — для справок. Отделы: 212-21-59 — рабочей молодежи и науки, 212-21-38 — коммунистического воспитания, 212-23-79 — фотоочерка, 212-21-38 — военно-спортивный, 251-32-84 — международной жизни, 251-04-10 — литературы и искусства, 212-11-27 — писем и массовой работы.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Рукописи, фото и рисунки не возвращаются. Рукописи объемом более одного авторского листа (24 машинописные страницы) редакцией не рассматриваются.

Возможно, у кого-то возникнет недоумение, если я назову работы Эки Валёвой народным творчеством. И не только потому, что они выполнены профессионально и выглядят, я бы сказал, «фирменно». Причина не в том. Вот если бы это были матрешки, палех или хохлома! Или цветастая аппликация, изображающая барышень за самоваром...

Но вот забавные условные или реалистичные, обобщенные или характерные, объемные изображения. Серия мужских типажей-головок, элегантные дамочки в полный рост с характерными приметамы стиля одежды и манер поведения. Ряд условных кукольных образов,



или чуточку театрализованные и романтические городские пейзажи — старомосковские переулки, стены с облупившейся штукатуркой, деформированные оконные решетки, ограды... и неперменный атрибут — коты с задранными хвостами. Или же — натюрморт с цветами... Да, это никакое не новое слово, не откровение и не авангард. Выполнено в традиционном стиле. Но с каким пониманием предмета изображения, цвета и композиции. И, главное, с каким вкусом!

Смею утверждать, за что бы ни взялась Эка Валёва — масло, акварель, коллаж, мелкая пластика, игрушки или бижутерия, — все хорошо и все пользуется успехом у публики, причем (но это уже субъективно), заметим, у интеллигентной публики. Что? Скажете, чепуха? Подумаешь, куклы с тряпочками. Что ж, попробуйте вылепить такие милые, живые рожицы. Подберите цвет лица, глаз, волосы, ткань для пиджака и платья, да что платья — просто пуговицу или поясик для японки. Попробуйте!.. А ведь это и есть искусство в действии. То самое, которым мы стремимся окружить себя в быту, в житейском обиходе...



Валерий
ДМИТРИЕВ

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

отвечающих, пожалуй, только нашим идеальным представлениям о том, как должна выглядеть кукла.

Вот вымышленные персонажи — черти, домовые, арлекины и клоуны, русалки, ряженые, мышки и обезьяны. И никаких гномов и чебурашек. Никаких героев популярных мультфильмов. И никакой «кляквы» в псевдорусском стиле. Это вовсе не означает, что, например, арлекин или негр — оригинальные идеи. Нет. Но это весьма совершенные выражения образов

и представлений, навеянных и прочитанными книгами, и детскими утренниками, кино- и телефильмами, всем, что смогла остро и тонко прочувствовать Эка Валёва.

Ее творчество — продукт городской культуры. Будь то гротескные рельефные изображения людей

